ЗАПИСКИ МЕЧТАТЕЛЕЙ

№ 5

«АЛКОНОСТ»
ПЕТЕРБУРГ
1922

Настоящее издание отпечатано
в 15-ой Государственной типо-
графии в количестве 1000 экз.

Р. В. Ц.

Печатаемые черновые наброски А. Блока к поэме «Возмездие» относятся к январю и июню 1921 года. Обработав в июне 1916 года, перед отбыванием воинской повинности, первую главу «Возмездия», Александр Александрович до 1921 года к поэме не возвращался, «не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму, полную революционных предчувствий, в года, когда революция уже произошла», как он писал в июле 1919 года в предисловии к третьей главе поэмы («Записки Мечтателей» № 2—3).

В январе 1921 года, Александр Александрович подготовлял незаконченную поэму к печати и увидел возможность довести ее до конца.

Здесь воспроизведен один из листков январских черновых набросков.

АЛЕКСАНДР БЛОК

ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ К ПОЭМЕ

ВОЗМЕЗДИЕ

II ГЛАВА.

... К чему мечтою беспокойной
Опережать событий строй?
Зачем в порядок мира стройный
Вводить свой голос бредовой?
(В твои сцепленные)... зубы,
Пегас, я втисну... (мундштук),
И если ты, заслышав трубы,
Стрелой помчишь меня на звук,
(Которого я не хочу слышать)
Тебе исполосую спину
Моим узорчатым хлыстом,
Тебя я навзничь опрокину,
Рот окровавив мундштуком,
И встанешь ты, дрожа всем телом,
Дымясь, кося свой умный глаз
На победителя...........
Смирителя твоих проказ.
Пойдешь туда, куда мне надо,
Грызя и пеня удила,
Пока вечерняя прохлада
Меня ко сну не отвела...
Смирись, и воле человека
Покорствуй, буйная мечта...

Сошли туман и темнота.
Настал блаженный вечер века.
Кончался век, не разрешив

Своих мучительных загадок,
Грозу и бурю затаив
Среди широких.... складок
Туманного плаща времен.

. . . .

Зарыты в землю бунтари,
Их голос заглушен на время.
Вооруженный мир, как бремя,
Несут безропотно цари.
И Крупп, несущий мир всем странам,
(Священный) страж святых могил,
Пол неба чадом и туманом
Над всей Европой закоптил.

. . . .

И в русской хате деревенской
Сверчок, как прежде, затрещал...

. . . .

В то время земли пустовали
Дворянские — и маклаки
Их за бесценок продавали,
(Но начисто свели лески).
И старики, не прозревая
Грядущих бедствий....
За грош купили угол рая
Неподалеку от Москвы.
Огромный тополь серебристый
Склонял над домом свой шатер,
Стеной шиповника душистой
Встречал въезжающего двор.
Он был амбаром с острой крышей
От ветров северных укрыт,
Здесь можно было ясно слышать,
Как тишина цветет и спит.
Навстречу тройке запыленной
Старуха вышла на крыльцо,
От солнца заслонив лицо,
(Раздался листьев шелест сонный),
Бастыльник покачнув крылом,
Коляска подкатилась к дому,
И сразу стало все знакомо,

Как будто длилось много лет,—
И серый дом, и в мезонине
Венецианское окно,
Цвет стекол — красный, желтый, синий,
Как будто так и быть должно.
Ключом старинным дом открыли,
(Ребенка внес туда старик)
И тишины не возмутили
Собачий лай и детский крик.
Они умолкли — слышно стало
Жужжанье мухи на окне,

И муха биться перестала,
И лишь по голубой стене
Бросает солнце листьев тени,
Да ветер клонит за окном
Столетние кусты сирени,
В которых тонет старый дом.
Да звук какой-то заглушенный,
Звук той же самой тишины,
Иль звон церковный отдаленный,
Иль гул (неконченной) весны,
И потянулись вслед за звуком,
(Который новый мир принес)
Отец, и мать, и дочка с внуком,
И ласковый дворовый пес...

И дверь звенящая балкона
Открылась в липы и в сирень,
И в синий купол небосклона,
И в лень окрестных деревень.
Туда, где вьется пестрым лугом
Дороги узкой колея,
Где обвелась.......
Усадьба чья-то и ничья.
Где по холмам и по ложбинам,
Меж полосами светлой ржи,
Бегут, сбегаются к овинам
Темнозеленые межи.
Стада пасутся, серебрятся
Далекой речки рукава,

Телеги . . . . катятся
В пыли, и видная едва
Белеет церковь над рекою,
За ней опять — леса, поля....
И всей весенней красотою
Сияет русская земля.

. . . .

Здесь кудри внука золотые
Ласкало солнце, здесь....

. . . .

Он был заботой женщин нежной
От грубой жизни огражден,
Летели годы безмятежно,
Как голубой весенний сон.
И жизни (редкие) уродства
(Которых нельзя было не заметить,
Возбуждали удивление и не нарушали благородства)
И строй возвышенный души.

. . . .

Уж осень, хлеб обмолотили.
И к стенке прислонив цепы,
Рязанцы к веялке сложили...

. . . .

Потом зерно в мешки ссыпают,
Белеющие от муки,
В телегу валят и сажают
(Наверх) ребенка, на мешки.
Мешков с десяток по три меры
Везет с гумна в амбар шажком
Почти тридцатилетний серый,
За ним — рязанцы вчетвером,
Приказчик, бабушка с плетеной
Своей корзинкой для грибов
Следит, чтоб внук неугомонный
(Не соскользнул).... с мешков.
А внук сидит, гордясь немного,
Что можно править самому,
И по гумну на двор дорога
Предлинной кажется ему.
И новой кажется ему

III. ~~Отец, и мать~~, и дочки

(Внук и)

Эти звуки какой-то ~~отдаленной~~ загудевшей —
Звуки той же самой тишины,
Иль звон цепочный, отдаленный,
Иль гул (неясный) весны,
И пошатнулся вслед за звуком,
(Открыт новый мир души)
Отец, и муж, и дочки с внуком,
И ласковый дворовый пес...

И дверь звенящая балкона
Открылась в липы и в сирень,
И в синий купол небосклона,
И в лень ~~далекой~~ окрестных деревень

~~[illegible]~~
Туда, где ~~Просторы~~ [illegible]
Дорогой узкой колея,
Где обвилась
Усадьба ... и нива

Давно знакомая дорога....
Через гумно во двор....
. . . .
В деревне жили только летом,
А с наступленьем холодов....
. . . .
Растет, растет его волненье
......................отчего
Уже туманное виденье
В ночи преследует его,
Он виснет над туманной бездной,
И в пропасть падает во сне,
Ему призывы тверди звездной
В ночной понятны тишине.
Его манят заката розы,
Его восторгу меры нет,
Когда..............грозы
. . . .
. . . .
И под палящим солнцем дня
. . . .
. . . . на коня.
Высокий белый конь, почуя
Прикосновение хлыста,
Уже волнуясь и танцуя,
Его выносит в ворота.
Стремянъ поскрипывают....
Позвякивают удила...
. . . .
Встречает жадными глазами
Мир, зримый с высоты седла.
. . . .

Пропадая на целые дни — до заката, он очерчивает все большие и большие круги вокруг родной усадьбы. Все новые долины, болота и рощи, за болотами опять холмы, и со всех холмов, то в большем, то в меньшем удалении — высокая ель на гумне и шатер серебристого тополя над домом.

Он проезжает деревни, сначала ближние, потом — незнакомые. Молодухи и девки у колодца. Зачерпнула воды, наклонилась, наде-

вает ведра на коромысло, слышит топот коня, заслонилась от солнца, взглянула и засмеялась — блеснули глаза и зубы — и отвернулась, и пошла плавно прочь. Он смотрит вслед, как она качает стан, и долго ничего не видит, кроме этих смеющихся зубов, и поднимает лошадь в галоп. Она переходит в карьер, он летит без оглядки, солнце палит и ветер свистит в ушах, уже вся деревня промелькнула мимо — последние сараи, конопля, поля ржаные, голубые полосы льна, — опять перелесок, он остановил лошадь, она пошла шагом, тень, колеи, корни, из за стволов старых смотрит большая заросль белой серебрянки, как дым, как видение.

Долго он объезжал окрестные холмы и поля, и уже давно его внимание было привлечено зубчатой полосой леса на гребне холма на горизонте. Под этой полосой, на крутом спуске с холма, лежала деревня. Он поехал туда весной, и уже солнце было на закате когда он въехал в старую березовую рощу под холмом. Косые лучи заката, облака окрасились в пурпур, видение средневековой твердыни. Он минует деревню и подъезжает к лесу, он сворачивает, заставляя лошадь перепрыгнуть через канаву, за сыростью и мраком виден новый просвет, он выезжает на поляну, перед ним открывается новая необъятная незнакомая даль, а сбоку — фруктовый сад. Розовая девушка, лепестки яблони — он перестает быть мальчиком.

III ГЛАВА.

. . . .

... Так у решотки сада длинной
Стоит и мерзнет мой герой...
Все строже, громче, вьюги вой
Над этой площадью пустынной,
Встает метель, идет метель,
Взрывает снежную постель.
И в нем тоску сменяет нега,
В его глазах стоит туман,
И столбики и струйки снега
(Вдруг) разростаются в буран,
Свист меж нагих кустов садовых,
Железный гром с далеких крыш,
И сладость чувств — летишь, летишь
В объятьях холода свинцовых...

Вдруг—бешеная голова
Коня с косматой белой гривой,
И седоусый, горделивый
Пан, разметавший рукава,
Как два крыла над непогодой
.... свободой
.... мазурка
. . . .
Из под копыт, уж занесенных
Над обреченной головой,
Из под удил коня вспененных,
Из снежной тучи буревой
Встает виденье девы юной,
Все.... все нежность, все призыв,
И голос, точно рокот струнный...
. . . .
Простая девушка пред ним.
Как называть тебя?—Мария.
Откуда родом ты?—С Карпат.

— Мне жить надоело.—Я тебя не оставлю. Ты умрешь со мной. Ты одинок?—Да, одинок.—Я зарою тебя там, где никто не узнает, и поставлю крест, а весной над тобой расцветет клевер.

... Она с улыбкой открывает
Ему объятия свои.
И все, что было, отступает
И исчезает (в забытьи).

И он умирает в ее объятиях. Все неясные порывы, невоплощенные мысли, воля к подвигу, не совершенному, растворяется на груди этой женщины.

.... Мария, нежная Мария,
Мне пусто, мне постыло жить!
Я не свершил того....
Того, что должен был свершить.
. . . .
Мария, нежная Мария,
Мне жизнь постыла и пуста!

Зачем змеятся молодые
И нежные твои уста?
Какою . . . . думой
. . . .
— Будь веселей, мой гость угрюмый,
Тоска минует без следа.
. . . .
— Где мы? — Мы далеко, в предместьи.
Здесь нет почти жилых домов.
Скажи, ты думал о невесте?
— Нет, у меня невесты нет.
— Скажи, ты о жене скучаешь?
— Нет, нет, Мария, не о ней...
. . . .

Январь—Июль 1921 г.

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА.

Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?

Работали-ли мы вместе с ним над чем-нибудь? Никогда. Часто мы встречались? — Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? — Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а, пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать.

Любил я Леонида Николаевича? — Не знаю. Был я горячим поклонником его таланта? — Нет, без оговорок утверждать этого не могу.

Несмотря на все это я чувствую, что у меня есть одно, длинное и важное, воспоминание об умершем; длинное — потому что мы были «знакомы» или «незнакомы» на протяжении десяти лет; важное — потому что оно связано с источниками, которые питали его жизнь и мою жизнь.

Воспоминания мои совершенно почти лишены фактического содержания, но связаны с Л. Андреевым мы были, и при редких встречах заявляли друг другу об этой связи с досадным косноязычием и неловкостью, которые немедленно охлаждали нас и взаимно отчуждали друг от друга.

Потому все, что я могу сейчас сказать, будет нерадостно и невесело. Будет рассказ, каких немало, — о людях, которые кое-что друг про друга знали п р о с е б я, а воплотить это знание, пустить его в дело не умели, не могли, или не хотели. Я об этом говорю так смело, потому что не на мне одном лежит вина в духовном одиночестве, а много нас — все мы почти — духовно одиноки.

История тех лет, которые русские художники провели между двумя революциями, есть в сущности история одиноких восторженных состояний; это и есть лучшее, что было и что принесло настоящие плоды.

Мне скажут, что были в эти годы литературные кружки, были журналы и издательства, вокруг которых собирались люди одного направления, возникли целые школы. Все это было, или, скорее, казалось, что было, но все это нисколько не убеждает меня, потому что плодов всего этого я не вижу; плодов этих нет, потому что ничего органического в этом не было. Напротив, прожив в Петербурге последние два года, я все больше утверждаюсь во мнении, что замечательные русские журналы, «Старые годы» или «Аполлон», например, были какими-то сумасшедшими начинаниями; перелистывая сейчас эти перлы типографского искусства, я серьезно готов сойти с ума, задавая себе вопрос, как сумели их руководители не почувствовать, во что превратимся мы, чем станем через 3 — 4 года.

Но дело не в этом, а в том, что вероятно, и даже наверное, и эти люди знали одинокие восторженные состояния; знал их и Л. Андреев, но представить себе Л. Андреева вместе с редактором «Старых Годов» было бы невозможно; представить их вместе можно было бы лишь в карикатуре. Гораздо ближе ему были некоторые символисты, в частности Андрей Белый и я, о чем он говорил мне не раз. И, несмотря на такую близость, ничего не вышло и из нее.

Связь моя с Л. Андреевым установилась и определилась сразу задолго до знакомства с ним; ничего к ней не прибавило это знакомство; я помню потрясение, которое я испытывал при чтении «Жизни Василия Фивейского» в усадьбе, осенней дождливой ночью. Сейчас от этих родных мест, где я провел лучшие времена жизни, ничего не осталось; может быть только старые липы шумят, если и с них не содрали кожу. А что там неблагополучно, что везде неблагополучно, что катастрофа близка, что ужас при дверях,—это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией, и вот на это мое знание сразу ответила мне «Жизнь Василия Фивейского», потом «Красный смех», потом — особенно ярко — маленький рассказ «Вор». О рассказе этом я написал рецензию, которая была помещена в журнале «Вопросы Жизни», рецензия попалась в руки Л. Андрееву и, как мне говорили, понравилась ему; что она ему должна была понравиться, я знал — не потому, что она была хвалебная, а потому, что в ней я перекликнулся с ним, — вернее, не с ним, а с тем хао-

сом, который он в себе носил; не носил, а таскал, как то волочил за собой, дразнился им, способен был иногда демонстрировать этот подлинный хаос, как попугая, или комнатную собачку, так что все чопорные люди, окружающие его (а интеллигенция была очень чопорная, потому что дров она тогда еще не рубила и ведер с водой на седьмые этажи не таскала), окончательно переставали верить в этот подлинный хаос.

Так вот перекликнулись два наши хаоса, и вышло, что ко времени личного знакомства, Леонид Андреев уже знал, что существует такой Александр Блок, с которым где-то, как-то и для чего-то надо встретиться, и он окажется не чужим.

Только что кончил я курс в университете и превратился в литератора, который, как и другие, ходил в штатском платье и просил авансов в разных местах. При одном из таких случаев, совершенно не помню где, познакомились мы с Леонидом Николаевичем. Знакомого хаоса никакого я не нашел, передо мной был просто очень известный уже писатель; я страшно стеснялся всех известных писателей; Андреев тоже не знал, должно быть, с чего начать разговор. Скоро он пригласил меня к себе; я пошел; Андреев жил на Каменноостровском, в доме, страшно мрачном, в котором, я знал, есть передвижные переборки у комнат.

Я помню хлещущий осенний ливень, мокрую ночь. Огромная комната — угловая, с фонарем, и окна этого фонаря расположены в направлении островов и Финляндии. Подойдешь к окну,—и убегают фонари Каменноостровского цепью в мокрую даль.

В комнате—масса людей, все почти писатели, много известных; но о чем говорят, неизвестно; никто ни с кем не связан, между всеми чернеют провалы, как за окном, и самый отделенный от всех,— самый одинокий, — Л. Н. Андреев; и чем он милее, чем любезнее, как хозяин, тем более одинок. Вот и все впечатление, которое у меня осталось. Оно усугубляется еще пригласительным письмом, которое составлено в шутливой форме; — так шутить очень мило, это показывает, как просто ведет себя известный человек, и все улыбнутся, но никому не станет весело.

В тот вечер, на фоне мокрой дали с цепочкой фонарей, был мне мил Л. Андреев, милее, чем в некоторые другие разы, потому что он, сколько я помню, был прост и немного застенчив и не демонстрировал своего хаоса, своей страшной комнатной собачки, которая тем и страшна, что, когда ее увидишь, не испугаешься, а невидимую — чувствуешь.

Описанный вечер был осенью 1906 года, а в 1907 г., «во второй половине сезона» была впервые поставлена у Комиссаржевской» в театре на Офицерской, «Жизнь Человека», произведение, которое очень глубоко задело Андрея Белого и меня. Опять я помню при этом не Леонида Андреева, знаменитого человека в куртке особого покроя, а его атмосферу, тот воздух, который окружал его, и который сумели тогда перенести на сцену так, как не сумели этого сделать позже даже в Художественном Театре. Было в некоторых актерах и в режиссере труппы Комиссаржевской, что-то родственное Андрееву; даже слабым довольно актерам удалось разбудить в себе тот хаос, который так неотступно следовал за ним.

В «Жизни Человека», как во всем ряде произведений Андреева, который открывается этой пьесой, поставлен нелепый, досадный вопрос, который предлагают дети: «Зачем?» Что ни скажешь ребенку, он спрашивает: «Зачем?» Взрослые на этот вопрос ничего не в состоянии ответить; но они также не в состоянии признаться в том, что они не могут ответить на этот вопрос. Просто—«глупый вопрос, детский вопрос»; вот то, что мне лично кажется самым драгоценным в Л. Андрееве; он всегда задавал этот вопрос, и был трижды прав, задавая его, потому что вот сейчас этот самый вопрос задает цивилизации великое дитя—Россия, а ответить на него так, чтобы за ним не последовало опять второе, полуравнодушное, полукапризное «Зачем?» никто не может.

Леонид Андреев задавал этот вопрос от самой глубины своей, неотступно и бессознательно. Сознательно он, чем дальше, тем больше, умствовал и сам способен был ответить на него не раз взрослее взрослого, глупее глупого. Но была в нем эта драгоценная, непочатая, хаотическая, мутная глубь, из которой кто-то, в нем сидящий, спрашивал: «Зечем? Зачем? Зачем?» и бился головой о стену большой, модно обставленной, постылой хоромины, в которой жил известный писатель Леонид Андреев, среди мебелей нового стиля.

Кажется, «Жизнь Человека» в этом смысле — самая автобиографическая пьеса. Мне привелось смотреть ее со сцены, чем я обязан режиссерским трюкам Мейерхольда. Никогда не забуду потрясающего впечатления от первой картины. Была она поставлена «на сукнах». В глубине стоял диванчик со старухами и ширма, а впереди — круглый стол со стульями кругом. Сцена освещалась только лампой на столе и узким круглым пятном верхнего света. Таким образом, стоя в темноте, почти рядом с актерами, я смотрел на театр, на вспыхивающие там и сям рубины биноклей. «Жизнь человека» шла рядом

со мной, рядом пронзительно кричала в родах мать, рядом нервно бегал по диагонали доктор в белом фартуке с папиросой; и главное, рядом стояла четырехугольная спина «Некто в Сером», который из столба матового света бросал в театр свои слова.

Эти слова казались и кажутся многим пошлостью. Я помню, что они смертельно надоели и великолепно произносившему их актеру—К. В. Бравичу, тоже уже покойному теперь. Но что-то есть в этих словах, что меня до сих пор волнует:

«Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха. Вот пройдет перед вами вся жизнь человека с ее темным началом и темным концом. Доселе не бывший, таинственно схороненный в безграничности времени, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем...»

« . . . Ледяной ветер безграничных пространств бессильно кружится и рыскает; колебля пламя, светло и ярко горит свеча. Но убывает воск...»

« . . . И вы, пришедшие сюда для забавы и смеха, вы, обреченные смерти, смотрите и слушайте: вот далеким и призрачным эхом пройдет перед вами, с ее скорбями и радостями, быстротечная жизнь человека».

Андрей Белый называл то, чем проникнута эта пьеса, «рыдающим отчаяньем». Это — правда; рыдающее отчаяние вырывалось из груди Леонида Андреева не раз и некоторые из нас были ему за это бесконечно благодарны.

Помню потом также поразившую меня «Повесть об Иуде». Потом меня ничто уже не поражало, но я твердо знал, о «чем» Леонид Андреев, и Леонид Андреев знал, о чем мы бы могли с ним быть. «О чем быть», говорю я, а что это значит,—не знаю, и он не знал. Через год писал мне Андреев: «Сколько раз я к Вам собирался, как хотел Вас повидать,— и все не приходится, все не приходится... Почему мы с Вами идем против судьбы?» — Но мы не увидались.

Прошел еще год, он, как будто, нашел реальный повод для нашей встречи (это была моя пьеса «Песня Судьбы», которая ему, впрочем, очень не нравилась), но и из этого ничего не вышло. Я ему ответил, не желая обижать его, но он немножко обиделся. Был уже 1909-й год; тучи реакции сгустились. Я тогда уехал в Италию, где обожгло меня искусство, обожгло так, что я стал дичиться современной литературы и литераторов заодно. Еще много было причин, почему я почти со всеми перестал видеться и ушел в свои «одинокие восторги». Леонид Андреев тем временем тоже уже был дру-

гой, в нем накопилось много всякой обиды, слава его была громка, но критика его не щадила, а он был к ней странно внимателен.

В 1911 году опять почему-то вспомнил он меня—поводом было одно из моих стихотворений. «Нужно ли это писать Вам, или нет, не знаю», прибавляет он в письме, «может и не нужно». Прислал «Сашку Жегулева», я ему, кажется, послал книги; тем дело и кончилось; не помню, встречались ли мы еще, до такой степени незначительны были слова, сказанные друг другу, если мы и встречались.

В конце 1916 года вернулся я в Петербург не надолго в отпуск и нашел очень милое письмо, которым Л. Н. звал меня принять участие в газете «Русская Воля», где он редактировал литературный и театральный отдел. В письме этом были слова о том, что газету «зовут банковской, германофильской, министерской — и все это ложь». Мне все уши прожужжали о том, что это — газета протопоповская, и я отказался. Л. Н. очень обиделся, прислал обиженное письмо. Отпуск мой кончился, и я уехал, не ответив. На том и кончилось наше личное знакомство — навсегда уже.

Сравнительно с тем, что знали мы с Андреевым друг о друге, где-то в глубине,—все встречи и письма, а тем более разговоры о иудаизме, Протопопове, германофильстве, и т. д., были сплошным вздором, бессмысленной пошлостью. И однако, если бы сейчас оказался в живых Л. Н. и мы бы с ним встретились опять, мы бы также не нашли никаких общих тем для разговора, кроме коммунизма, или развороченной мостовой на Моховой улице.

Мы встречались и перекликались независимо от личного знакомства — чаще в «хаосе», реже — в «одиноких восторженных состояниях». Знаю о нем хорошо одно, что главный Леонид Андреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, не признан и всегда обращен лицом в провал черного окна, которое выходит в сторону островов и Финляндии, в сырую ночь, в осенний ливень, который мы с ним любили одной любовью. В такое окно и пришла к нему последняя гостья в черной маске—смерть.

29 октября 1919 г.

Александр Блок.

БЛОК.

Недели и дни только отделяют нас от 7 августа; память хранит подробности жизни и смерти поэта, а образ мирового Блока, теряя, одну за другою, черты случайного и временного, стремительно удаляется, как бы на наших глазах, в вечность. Вот уже на рубежах ее, в сонме великих теней, благословенная тень усопшего, и в хоре имен, звучащих как вечность, готово зазвучать новой и сладостной музыкой новое имя — Блок.

«Он между нами жил»... Точнее, он прошел перед нами. Прошел медлительно, царственно-неторопливо, и каждому из нас заглянул в глаза и каждому дал срок заглянуть в свою душу и въяве созерцать образ воплощенного Богом гения. В этом мире, страшном, по его словам, и прекрасном, принял он, покорный необходимости, судьбу человеческую; жил и умер как человек. Но печать величия нездешнего и нечеловеческого присуща была каждому слову ушедшего, каждому звуку его голоса, каждому его взору. Только безнадежно-низкие, те, кого Бог, в гневе своем, отметил душевною слепотою, проходили мимо него, не волнуемые его образом. Немногие, которых он, по великому снисхождению своему и покорный укладу земной жизни, называл друзьями, любили его безотчетно и беспредельно и собственную жизнь свою осознавали в меру проникновения его творчеством. Другие — их было много — те, кого сводили с ним на короткий срок и вновь разводили пути повседневного труда, смутно, но непререкаемо ощущали его, как явление исключительное, не подчиненное обычным формам, и считались с его высотою, порой непосильною, но всегда убедительною. Третьи, наиболее многочисленные, знавшие Блока только по стихам его, постигали величие поэта по величию его творчества. Блок-поэт и Блок-человек сливались воедино. И если в дальнейшем

кому-либо из них выпадало счастье видеть и слышать Блока, то разочарование, столь обычное при встречах с служителями искусства, не имело места: все прекрасное, все величавое, все таинственно-влекущее, что было в стихах Блока, было и в нем самом. И — трагедия каждого подлинного творца на земле — было в нем самом неизмеримо больше, чем то неизмеримо большое, что дал он в своем творчестве.

Земная жизнь всякого человека задана ему как подвиг. Блок выполнил этот подвиг, как поэт. Оружием его было слово, и словом он расковывал чары мертвящих стихий, раздвигал над нами низкое небо, призывал и привлекал на нас благословение красоты. Долг поэта он выполнил честно, ни на мгновение не поддавшись соблазну зовущих в жизнь голосов. Но ремесло поэта не наложило на него своей беспощадной печати. И если, по установившемуся преданию, представляют себе поэта рассеянным, слабовольным, небрежным, притязательным, колеблемым каждым дуновением ветра, то полную противоположность этим признанным приметам являл Блок — неизменно сосредоточенный, алмазно-твердый, точный во всем, от великого до малого, скромный и нетребовательный, наглухо замыкавший перед людьми свою напряженную страсть. Он владел стихиею поэтического творчества, как одною из обуревавших его стихий, и властно преграждал пути и выходы иным, волновавшим его голосам. В условиях своей жизни должен был он быть поэтом, и был им; нежность стала отличительным о нем воспоминанием. Но те, кому памятны его величавый облик, твердая и легкая поступь, черты лица, крупные и правильные правильностью древне-героических профилей, очерк рта, нежного и в то же время властного, прямая поперечная линия на лбу, как бы опаленном заревом гневной мысли, ясный, долгий и глубокий, в душу проникающий взгляд и, наконец, крупные, с длинными пальцами, несказанной красоты и выразительности руки — те знают, что в судьбе Блока подвиг поэта — только воля Пославшего его и что по той же воле мог он стать провозвестником новой религии, водителем народов по новым путям, пророком и трибуном, полководцем и царем.

Но он стал поэтом — величайшим поэтом современности. Как такового оценили его при жизни наиболее чуткие из современников и спешно дооценивают те, кто запоздали сделать это до его кончины. Правда, земная жизнь — жизнь, и подвиг поэта — подвиг. Наблюдали мы: подходил к нему видавший виды журналист и брал его, случалось, за плечо и осведомлялся о его настроении; потягиваясь после скучного заседания, наклонялся к нему профессор и сообщал, что много слышал о его стихах и лишь за недосугом не соберется

прочесть; одобряла его, случалось, за одно литературная дама и очень, с другой стороны, не одобряла за другое. Но вот — и журналист, и профессор, и литературная дама, встречаясь с долгим, глубоким, и чистым взором, вяло договаривали сентенцию и потом, позабыв о теме, прислушивались к напряженно-волнующему, приглушенному голосу и уносили в душе воспоминание о таинственно существующей, побудительно-внятной красоте.

То, что подобает выдающемуся современнику при жизни, досталось в удел и Блоку. Внешность его зафиксировали фотографические объективы и зарисовали художники; фонограф записал голос поэта; сотни и тысячи людей запомнили неповторяемый облик. Стихи поэта изданы и перепечатаны в ряде изданий. Словно предчувствуя краткость данного гению срока, спешили в последние годы современники воздать ему должное при жизни и передать его образ потомству.

Но не признанием современников — тончайшего слоя образованного общества — определяется судьба гения в веках, и не техника современных изобразительных средств сообщает устойчивость его памяти в борьбе со стихией смерти...

Смерть пришла в указанный срок и, словно предчувствуя непомерность предстоящей в веках задачи, торопливо принялась уничтожать все земное, что было в Блоке. Едва ли одна черта прекрасного облика спаслась от распада, и тот, кто впервые увидел Блока в гробу, тот никогда его не видел. Маска, снятая с усопшего, воспроизвела обостренные страданием черты, общие всякому мертвецу; фотографические снимки запечатлели непреложное торжество смерти. — Нежность и любовь украсили цветами смертное ложе и цветами засыпали могилу; острая боль утраты заговорила в строках воспоминаний. Но не растерялась и смерть: тут же, у гроба и на могиле, иссушила цветы и к общему хору взволнованных движений и голосов явственно присоединила свою скрипучую поступь и гнусавую свою речь.

На наших глазах длится борьба и продолжится после нас. Уже кладется начало музею имени Блока, образован комитет для увековечения его памяти. Многочисленные письма, портреты, рисунки, предметы домашнего обихода, воспоминания близких и современников пополнят память о нем; мрамор и бронза воссоздадут его живой облик. На этом пути, обычном пути земной славы, обеспечена, в меру прочности всего земного, длительная победа над смертью.

Но хочется думать, что иными, легчайшими, не пропыленными и исчерченными путями истории пройдет через века образ гения. Вспоминаются и остерегающе звучат стро зу ь .«Ди»мря

То, чего боялся Блок при жизни, то исполнилось неминуемо: стал он «достояньем доцента» и немало «критиков праздных» упражняют на нем свое легкое искусство; и уже видится нам в тумане времен «поздний историк», и замышляет он, верный пророчеству, «внушительный труд».

Многообразны и разительны облики воинствующей смерти; станут они и на путях историко-литературного признания, и кто знает, к каким прибегнут отводам? Поблекнут снимки; рассыплется глина, замкнувшая черты мертвого лица; истлеют черновики рукописей, хранящих отпечаток почерка четкого и волнующе-убедительного; бронзу и мрамор источит бесстрастное время, сокрушат страсти человеческие. Останется доцент, и постоит за себя типографский станок? Но мы, вплотную наблюдающие умирание культуры, в том не уверены; знаем, что и доцент станет достоянием истории, а типографский станок, и ныне переобремененный чуждой для него работою, разлезется по пазам и, заржавевший, отодвинется в дальний угол истории.

От страшной картины умирающего в веках страшного мира, к нему, жившему среди нас, обращается взор. Не подвластен смерти высокий и чистый дух; не пройдет бесследно и не умалится в тысячелетиях огромная, любовью объятая любовь; живая легенда, наперекор торжествующей смерти, сохранит и вознесет величественный образ Какими, нам неведомыми путями свершится торжество жизни? Девушка ли, которой, в осиянный радостью миг, улыбнулся он светло и нежно, сохранит в сердце эту улыбку и передаст ее, вместе с сердцем, памяти поколений? Ветер ли веков, веющий над садами и пустынями мировой истории, пронесет нерушимыми, сквозь свет и тьму, волшебные сочетания слов и из сочетаний слов волшебно возникнет образ творца? Или странник, все потерявший и все позабывший, споет таким же, как он, нищим странникам свою единственную песню — и это будет песня о юном, статном и сильном, на закате дальних времен светло воссиявшем и жертвенно сгоревшем?

Тогда иным светом, иной святостью озарится бессмертное имя. И если исполнятся и минут сроки, и новая жизнь зацветет на развалинах истлевшего мира, то проникновенная мудрость историков остановится перед непосильной задачей — восстановить в путях научного познания легендарный облик и — завидная даже для гения участь! самое существование его подвергнет сомнению.

Мы, для кого существование Блока — близкая и радостная в несомненности своей явь, взысканы судьбою бесмертно. Вечная память о нем

претворится в память и о нас. Безымянные, будем мы дороги отдаленным временам и поколениям, как дороги нам те, кто созерцал Данте, кто беседовал с Овидием. А в пределах этой жизни, краткой и теперь стремительно уходящей, сохраним высокую уверенность: страшный мир неизменно прекрасен; жертва угодна; тайна земного воплощения поэта — залог и обетование вечно-пребывающего в мире чуда.

В. Зоргенфрей.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ.

Памяти Александра Блока.

1

Вот он в гробу, в георгинах и розах
Так спокойно и грустно спит,
В золотых георгинах и красных розах
Над ним тоска неотступно стоит.
И детской улыбки лукавой и мудрой
Больше не будет на бледных устах,
Статный, красивый, золотокудрый
Лежит, не дышит в огнях и в цветах.
Только тревожить его не надо!..
Поклонись, поцелуй, отойди!..
Свете Тихий святые лампады,
Святая София на мертвой груди...

2

Посмотри, стало небо шире
Над последним домом твоим,
И в огромном нестрашном мире
Подымается светлый дым;
Затлевает свечою зеленой
Над тобою осенний клен,
Упадает луч потаенный
От кладбищенских старых икон.
Что мы помним, и что мы знаем!

— Вьются пчелы, шумит трава,
Только тихой душой повторяем
Вековые святые слова;
И, светлея сквозь темный терновник,
Там, где прячется в листьях тропа,
Подымает небесный Садовник
Рукоять золотого серпа.

3

Богоматерь! Его осени
Золотым своим, тихим плащом,
И в померкшие очи взгляни
И напомни Сыну о нем!
Он неузнан прошел меж людьми,
Светел духом, прекрасен лицом;
Ты Своею рукой его руку возьми
И напомни Сыну о нем!
И, когда загорится небо вдали
Золотым и лазурным огнем,
Подыми его с черной и дикой земли
И напомни Сыну о нем!

Надежда Павлович

Август-сентябрь 1921 г.

СТРАЖ ВЕЛИКОГО ЦАРЯ.

Драматическая сказка в четырех действиях.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

КИНОДЖА, царь Табаристана.
ХОДЖИСТЭ, его дочь.
КАМРУ, страж.
ЧУНДЕР, его жена.
ХАЛИС, их сын.
ДИВ.
ЗМЕЯ, живущая в огне.
ДЖАФАР, великий визирь.
МНЕМУН, мудрец.
ФЕРУХ, военачальник.
Гости царя и народ.

Действие первое.

Сени перед чертогом царя Табаристанского. Лестница, опускающаяся прямо вперед. Над чертогом — огороженная плоская кровля. В глубине сеней — высокая, широко раскрытая дверь в пиршественную залу. Из залы слышен ликующий шум. Пир кончается. Довольные угощением выходят гости, — царевичи, знать, мудрецы, наставники, ученые, правители. Царь КИНОДЖА провожает мудрейших. Гости хвалят пир, чертог, царя, царевну.

Внизу лестницы стоят бедно одетые КАМРУ и ХАЛИС.

ГОСТИ. Великий царь, пир твой подобен торжеству в райских сенях.

Слышен невнятный, но громкий и грозный голос:

— Я иду.

Все смущены.

КИНОДЖА. Я слышу этот голос уже несколько ночей. И не знаю, чей это голос, и что он значит.

МИЕМУН. Печаль уходит от чертога великого и мудрого царя.

КИНОДЖА. Но отчего же в этом голосе слышна угроза?

МИЕМУН. Счастие великого царя гонит ее, и она ропщет.

Выходит ХОДЖИСТЭ.

ХАЛИС (отцу). Кто эта прекрасная?

КАМРУ. Дочь великого царя. Но зачем ты глядишь на нее так пристально?

ХАЛИС. Лицо ее подобно луне в четырнадцатый день месяца. Ее локоны чернотою напоминают тьму благоуханной ночи. Стройный стан ее подобен кипарису, а царственная походка — поступи фазана. Сладостная речь ее подобна пению соловья, искусного и влюбленного, который знает тысячу трелей и одну. Это и есть та красавица, которую видел я во сне нынче ночью, когда мы в поле перед этим городом остановились на ночлег.

Увлекаясь, выдвигается вперед, и поднимается по ступеням лестницы. КАМРУ останавливает его.

КАМРУ. Любовь к царевне погубит тебя. Будь скромен. Дорожные сны и полевые сказки пусть остаются за оградою великого и славного города.

Становится впереди сына. Тогда царь и придворные замечают его.

КИНОДЖА. Кто это? В лохмотьях и покрытый густою пылью.

ДЖАФАР. Кто ты? Откуда пришел ты в непраздничной одежде к высокому порогу?

КАМРУ. Я — боец на мечах и ловец львов. Я постиг искусство метания стрел, и так умело и сильно пускаю их, что они пробивают даже твердый камень. И еще многие тайны и хитрости доступны мне.

ДЖАФАР. Глядя на твои лохмотья, не скажешь, что ты богат. Что же твое искусство?

ГОСТИ смеются.

МИЕМУН. Знающий знает тщету богатства и умножает не золото, а мудрость.

ФЕРУХ. Сильный знает бессилие золота и умножает не сокровища, а силу.

ДЖАФАР. Но этот человек уже слишком презирает богатство. Он сам в лохмотьях, а сын его полунаг.

ХОДЖИСТЭ. Самый мудрый — тот, кто знает свой срок.

КИНОДЖА. Пусть он сам о себе скажет.

КАМРУ. Был я на службе у царя Ходженского, но царь не умел оценить моей ловкости. Я оставил его. И вот пришел к великому царю Табаристанскому.

ДЖАФАР. И царь Ходженский отпустил тебя ни с чем? Малого же стоила твоя служба!

КАМРУ. У меня есть сокровище, есть богатство, с которым не сравнятся никакие дары, — мой сын. Он силен и прекрасен, и судьба его вся перед ним.

ДЖАФАР. За такое сокровище на базаре не только быка, не дадут и теленка.

МИЕМУН. Чего стоит отрок, знает тот, кто дал ему жизнь.

КИНОДЖА. Если они голодны, пусть их накормят. Джафар, скажи, чтобы мне дали вина, — хочу выпить здесь, под этими ясными звездами, последнюю сегодня чашу.

ЦАРЬ и ГОСТИ пьют. ХОДЖИСТЭ подходит к ХАЛИСУ.

ХОДЖИСТЭ. Прекрасный отрок, ты чей?

ХАЛИС. Вот мой отец.

ХОДЖИСТЭ. Кто же вы? На царском пире только ты один в бедной одежде, ты и твой отец. Но на царском пире я не видела отрока прекраснее тебя, и мужа более сильного и величественного, чем твой отец. Вы оба, как царь и царевич, изгнанные из чертога предков ваших буйными рабами, упившимися вином.

ХАЛИС. Мой отец — сильный воин, но не царь.

ХОДЖИСТЭ. Как стройны твои обнаженные ноги!

ХАЛИС. Я тебя знаю. Я тебя видел.

ХОДЖИСТЭ. Где? Когда? Я тебя не помню.

ХАЛИС. Я видел тебя нынче ночью во сне.

ХОДЖИСТЭ. Ты очень глупый, или очень мудрый (Смеется).

ХАЛИС. Видение мудрого — безумие для неразумного.

ХОДЖИСТЭ. Но ты то в этом что понимаешь, милый отрок? Вот приближается ночь. Если никто не пустит вас ночевать к себе в дом, твои ноги будут дрожать от холода. Возьми этот плащ. Покройся им, и во сне опять постарайся увидеть меня (Дает ХАЛИСУ свой плащ. Говорит отцу:) Отец, возьми этого человека на службу. Он будет верен тебе.

КИНОДЖА. Ты — умная. Ты смотришь на человека и видишь его мысли и желания. Душа человека открыта перед тобою, и ты видишь, что он будет верен.

ХОДЖИСТЭ, застыдившись от похвалы отца и улыбаясь, уходит в чертог.

КИНОДЖА. Пусть этот человек служит мне. Да будет он стражем моего чертога.

КАМРУ. (падая ниц перед царем). Благодарю тебя, великий царь. Благоволение царя пламенно и страшно, но ты будешь доволен моею службою.

КИНОДЖА уходит в чертог.

ХАЛИС (отцу). Я люблю царевну.

КАМРУ. Что за безумие! Разве возможно, чтобы нищий породнился с великим царем.

ХАЛИС. Не знаю, хорошо ли, что я утаил от нее.... Но она дала мне плащ.

КАМРУ. Что ты утаил от нее.

ХАЛИС. Я не сказал ей, что добрая женщина дала нам приют на эту ночь.

КАМРУ. Зачем царевне знать об этом? Она только посмотрела на тебя, и ушла, и уже забыла.

ХАЛИС (любуясь подарком царевны, повторяет). Она дала мне свой плащ.

КАМРУ. Иди к той доброй женщине, которая дала нам приют на эту ночь, и скажи матери, что я должен остаться здесь на страже у царского чертога. Спи спокойно и забудь о царевне.

ХАЛИС. Лучше мне умереть, чем забыть о ней.

КАМРУ. Друг мой, я слышал, спросили однажды у великого мудреца: что такое любовь? И мудрец ответил: любовь,—это как бы смерть при жизни.

ХАЛИС. Сладостная смерть! Ах, лучше умереть любя, чем жить без любви.

Медленно уходит. Все ГОСТИ уже ушли. Огни пиршества гаснут. КАМРУ становится на стражу. КИНОДЖА выходит на кровлю. Смотрит вокруг. В чертоге у двери стоит ХАДЖИСТЭ, притаившись, и слушает.

КИНОДЖА. Страж, скажи мне, отчего я не могу заснуть.

КАМРУ (низко поклонившись царю). Если царь будет спать ночью, у него не останется времени для поклонения Богу.

КИНОДЖА. Но я и днем не спал.

КАМРУ. Если царь будет спать днем, то пострадают его подданные.

КИНОДЖА. Когда я им нужен, они хотели бы, чтобы я судил их и днем и ночью. И тогда они смотрят на меня, и судят меня еще строже, чем я их сужу. Когда они мне нужны, они были бы рады, если бы я спал круглые сутки. Когда я тревожу их, они ропщут и готовы были бы усыпить меня навеки. Они не могут обойтись без людей, которые за них думают, сражаются и молятся. А для поклонения Богу иная минута святее целого дня. Нет, страж, я не сплю по иной причине.

КАМРУ. Великий царь, ты ждешь того, кто приходит внезапно. Но не тревожься,—я на страже, никто не войдет в твой чертог и не похитит твоих сокровищ.

КИНОДЖА. От приходящих внезапно никто не остережется.

Издали доносится угрожающий голос:

— Я иду! И кто из людей заставит меня вернуться?

КИНОДЖА. Страж, ты слышишь этот голос?

КАМРУ. Я слышал этот голос, когда с женою и с сыном шел в твой славный город. Жена и сын думали, что я знаю, чей это голос, и спрашивали меня. Кто знает хоть немного, того спрашивают обо всем. Но я ничего не мог сказать им. Я знаю мой долг и не допытывался, что это за шум. Но если ты, царь, повелишь мне, я тотчас узнаю, кто это, и доложу об этом двору, населенному рабами святейшего закона.

КИНОДЖА. Иди, узнай, и скажи мне. Только мне — никому иному не надо знать.

КАМРУ уходит. КИНОДЖА окутывает тело и лицо черным покрывалом, поглощающим всякий свет. Становится незрим. Идет вслед за стражем. ХОДЖИСТЭ выходит на кровлю. Слышен голос:

— Я иду! Кто меня задержит?

Входят ХАЛИС, несет в глиняной посуде пищу для отца, и ЧУНДЕР, несет в глиняном кувшине воду для мужа.

ХАЛИС. Отец, где ты?

ХОДЖИСТЭ. Твой отец ушел в пустыню прогнать духа, который тревожит великого царя.

ХАЛИС (испуганно и радостно). Здесь прекрасная царевна.

ХАЛИС и ЧУНДЕР кланяются царевне.

ХОДЖИСТЭ. И мой отец ушел в пустыню. Ушли сильные, остались женщины и дети.

ЧУНДЕР. Царевна, сын мой заменит отца на страже. Он силен и верен, как и его отец, и пока отрок здесь, ты, царевна, ничего не бойся.

ХОДЖИСТЭ. Я никогда ничего не боюсь. Меня не научили страху. (ХАЛИСУ). Милый отрок, иди за твоим отцом и помоги ему охранять в пустыне великого царя. Ужасны и неодолимы тайные силы, но страхи бегут от того, кто чист и непорочен.

ХАЛИС кланяется царевне до земли и уходит. ЧУНДЕР садится на ступени. ХОДЖИСТЭ смотрит вдаль.

ХОДЖИСТЭ. Кто за себя не боится, тот вдвое боится за другого. Я боюсь за отца и за милого, ты — за мужа и сына. Одна тоска в наших сердцах.

ЧУНДЕР. Царевна, а кто же твой милый, и где он?

ХОДЖИСТЭ. Все дальше, все дальше уходит.

ЧУНДЕР. А кто же он?

ХОДЖИСТЭ. Женщина, ты слишком любопытна. Скажи мне лучше утешительную сказку.

ЧУНДЕР. Если хочешь, милая царевна, я расскажу тебе о том, как один....

Луна восходит над чертогом, полная и ясная. Серебристый туман заволакивает все предстоящее, и не слышно слов утешительной сказки. Отходит от чертога действие, и влечется в пустыню.

Действие второе.

Пустынное поле. Перекресток двух тихих дорог. Полная луна светит ярко и смотрит, любопытная, как беременная женщина. ДИВ с темным, но прекрасным лицом стоит в тени цветущего и благоухающего истомно дерева и кричит страшным голосом:

— Я иду? Кто заставит меня вернуться?

Входит КАМРУ. За ним КИНОДЖА в черном плаще, поглощающем всякий свет.

КАМРУ. Прекрасный и великий Див, почему ты говоришь эти страшные слова?

ДИВ. Я — ангел смерти.

КАМРУ, мгновенно ужаснувшись, падает на лицо свое, кланяясь ДИВУ. Но мужество воина тотчас же возвращается к нему. Он поднимается и говорит с Дивом, как человек всегда готовый встретить смерть.

КАМРУ. Путь перед тобою свободен. Отчего же ты медлишь на этом перекрестке, и с кем ты споришь?

ДИВ. От многих душ исходящие незримые нити держат на земле того, к кому я послан, но и эту сеть я разрушу, как легкую паутину.

КАМРУ. Чем же ты умерщвляешь?

ДИВ. Взором моим и голосом я зову душу, которой настал срок расстаться с телом.

КАМРУ. Куда ты идешь?

ДИВ. Я иду в чертог царя Киноджи.

КАМРУ. Чертог великого царя охраняется крепко.

ДИВ. Дни царя истекают, и я иду, чтобы взять его душу и отнести ее к превысокому престолу.

КАМРУ. Я должен вернуть тебя обратно. К господину моему не пущу тебя, страшный.

ДИВ. Никакою силою меня не вернешь и не остановишь.

КАМРУ. Дам тебе многоценный выкуп за душу господина моего.

ДИВ. Ты слишком смело обещаешь. Когда ты узнаешь, чего я требую, ты откажешься.

КАМРУ. Я дам все, чего ты потребуешь.

Входит ХАЛИС.

ХАЛИС. Отец, что ты делаешь в этом мрачном месте? В первую же ночь ты оставил порог высокого чертога! Ты забыл о царе, и царевна в тревоге и страхе. Что подумает царь, если узнает, что ты ушел?

КАМРУ. Я спорю с этим духом о душе моего великого господина.

ДИВ. Разве есть верность на земле? Везде, куда я приходил, я видел, что люди торопятся пасть к ногам нового господина. Один только ты хочешь сохранить сочтенные дни обреченного моему мечу.

КАМРУ. Скажи, какой ты возьмешь выкуп.

ДИВ. Чтобы я оставил душу твоего господина в его теле, ты хочешь принести великую жертву. Подумай, — если царь умрет, тебя

и другой царь не прогонит. Тот, кто служит, ни о чем ином не думая, нужен каждому властелину, как бы тот не именовался. Тебе, нищему, не все ли равно, кому ты служишь? У тебя нет дома, и нет родины.

КАМРУ. Я верен моему господину, потому-что я верен моему слову. Я должен вернуть тебя обратно.

ДИВ. Если ты за душу великого царя отдашь мне душу твоего сына, я вернусь, и царь избегнет смерти.

КИНОДЖА (радостно). Я избегну смерти.

Среди лунного сияния над безлюдными дорогами и над пустынею, он один окутан мраком, и слова его поглощены окружающим его молчанием и тьмою.

КАМРУ (радостно). Великий царь избегнет смерти!

ХАЛИС. Царевна для меня недоступна. Лучше мне умереть за великого царя, ее отца, чем жить вдали от прекрасной царевны Ходжистэ.

КАМРУ, (ДИВУ). Я отдам тебе и мою жизнь, и жизнь моего сына.

ДИВ. Твоей жизни мне не надо. Довольно одной. Избыток жертв уменьшает их цену. Отдай мне только жизнь Халиса.

КАМРУ. На твоих глазах я принесу его в жертву. Халис, милый сын мой, единственное мое сокровище, готов ли ты умереть за господина нашего Киноджу, великого царя?

ХАЛИС. Великий и справедливый царь дорог для всех. Он любит своих, он милостив к чужим. Счастие народа истекает от великого царя. Умереть за доброго царя хорошо, добрый царь сохраняет мир среди своего народа. Если умрет справедливый царь, ему может наследовать владыка жестокий, и от его злобы погибнут тысячи людей, ему подвластных, и вся страна превратится в пустыню. А потому будет разумно и справедливо, если ты, отец, убьешь меня.

КИНОДЖА. Отрок рассуждает разумно. И что нищему мальчику долгая жизнь! А за его верность и за его жертву я щедро награжу моего стража. Денег и других сокровищ в казне моей много.

КАМРУ связывает ХАЛИСУ руки и ноги и вонзает нож в его грудь. ХАЛИС вскрикивает.

ХАЛИС. Ходжистэ! (Стонет. Умирает).

КИНОДЖА. Умирая, вспомнил он ласковый взор прекрасной госпожи. Счастливый отрок!

ДИВ. Царь останется на земле, пока сам не призовет меня.

КИНОДЖА. Этого не дождешься (Поспешно уходит).

ДИВ. Змея, живущая в огне, вознесет твоего сына (Скрывается).

КАМРУ. Я знаю змею, живущую в огне. Она обовьет тело моего сына, и вознесет его высоко над землею, — дымом и пеплом вознесет его милое тело.

Поднимает тело ХАЛИСА и уносит его.

Действие третье.

Сени чертога, как в первом действии. Луна светит. ХОДЖИСТЭ, на полную луну, как родная сестра, прекрасным лицом дивно похожая, и ЧУНДЕР разговаривают.

ХОДЖИСТЭ. Прекрасный отрок — твой сын, женщина, и я полюбила его. Но нельзя мне быть его женою. О, лучше бы я была рабынею! Рабынь в доме великого царя хорошо кормят и не обременяют многою работою, и я могла бы стать женою твоего сына, если бы он захотел меня. Но кто из юных, посмотрев на меня однажды, не пожелал бы моей любви!

ЧУНДЕР. Слушай, госпожа, — у одного царя была дочь необычайной красы.

ХОДЖИСТЭ. Красивее меня?

ЧУНДЕР. Красивее тебя, госпожа, нельзя быть. И никогда не было никого красивее тебя и не будет. Царевна, о которой я говорю, была почти так же прекрасна, как и ты. В нее влюбился дервиш.

ХОДЖИСТЭ. Безумный! Разве возможно, чтобы нищий породнился с царем?

ЧУНДЕР. Дервиш пришел к царю и сказал ему: отдай мне твою дочь, я люблю ее.

ХОДЖИСТЭ. А она любила его?

ЧУНДЕР. Нельзя не полюбить того, кто любит.

ХОДЖИСТЭ. Что же отвечал дервишу царь?

ЧУНДЕР. Царь сказал: Приведи мне слона, нагруженного золотом, тогда я отдам тебе дочь.

ХОДЖИСТЭ. Царь посмеялся над бедным дервишем.

ЧУНДЕР. Дервиш пошел к райрайяну и дал ему райрайян слона и столько золота, сколько может поднять самый сильный слон.

ХОДЖИСТЭ. И дервиш получил царевну?

ЧУНДЕР. Царь сказал: Слон стар, и золото нехорошее. Знаю, райрайян дал тебе слона и золото. Принеси мне голову райрайяна, и отдам тебе мою дочь.

ХОДЖИСТЭ. Бедный дервиш!

ЧУНДЕР. Пошел дервиш опять к райрайяну. И сказал ему райрайян: Обмотай веревку вокруг моей шеи, веди меня к царю и скажи, я принес голову вместе с ее телом. Если царь согласится взять ее, отрежь мою голову и отдай ему.

ХОДЖИСТЭ. (всплеснув руками, как простая девушка, пораженная изумлением). Никто в этом мире не превзойдет великодушием райрайяна.

ЧУНДЕР. Дервиш привел на веревке райрайяна к царю. И тогда царь послал за дочерью и сказал райрайяну: Это — твоя рабыня отдай ее, кому хочешь.

ХОДЖИСТЭ. И райрайян взял ее себе?

ЧУНДЕР. Райрайян отдал ее дервишу.

ХОДЖИСТЭ. Счастливый дервиш!

ЧУНДЕР. Царевна, если ты любишь моего сына, и если он любит тебя, — а тебя нельзя не любить, — обратитесь к мудрому и благому, и он поможет вам.

ХОДЖИСТЭ. Кто мудр, и кто благ?

КИНОДЖА вернулся. Снимает поглощающий всякий свет плащ и выходит на кровлю. ХОДЖИСТЭ уходит в чертог, таится за дверью и слушает. Входит КАМРУ. Кланяется царю низко.

КАМРУ. Да умножатся богатства, честь и пышность великого царя! Да продлятся дни царя, великого источника всяких благ.

КИНОДЖА. Скажи мне, что это был за голос?

КАМРУ (почтительно сложив руки на груди). Некая женщина дивной красоты, поссорившись с своим мужем, оставила свой дом. Она сидела там на земле, на перекрестке двух путей, не зная, куда ей итти, и громко причитала. Но я утешил ее тихою речью и восстановил мир и согласие между ею и ее мужем. И теперь эта женщина обещала не оставлять мужа до самой его смерти.

КИНОДЖА. Ты рассказал мне притчу, но знаю ея смысл, и напрасно хочешь ты его скрыть от меня.

КАМРУ, (падая ниц перед царем). Иносказание — прозрачная для мудрого взора одежда истины.

КИНОДЖА. Когда ты по моему повелению ушел отсюда, я облекся черным плащом и пошел вслед за собою. Я слышал все, что ты говорил с тою женщиною, и видел, что ты сделал с твоим сыном. Не женщина то была, — то был Див умерщвляющий, посланный за моею душою. За душу мою он потребовал выкуп, душу твоего

сына, и ты согласился дать этот выкуп, чтобы спасти мою жизнь. И когда твой нож прервал дыхание жизни твоего сына...

ХОДЖИСТЭ вскрикивает.

КИНОДЖА (спокойно продолжает, точно и не слышал этого крика). Я увидел вашу любовь и верность ко мне и вот говорю тебе: Мудрый и верный, и знающий многое, ты все же был нищ и мал. Ты испытывал крайнюю нужду и пренебрежение богатых и сильных, и этим всегда было огорчено твое сердце. Отныне успокоится твой дух, и я сделаю тебя богатым и знатным. Сын же твой,—о нем не печалься,— он восстанет, и ты увидишь его в славе и величии.

ХОДЖИСТЭ выходит и плачет громко.

ХОДЖИСТЭ. Милый отрок погиб! Горе мне, горе!

ЧУНДЕР. Сын мой погиб! Горе мне, горе горькое!

КАМРУ. Погиб отрок, но зато жив великий царь.

КИНОДЖА. О сыне вашем чистые воспоминания останутся у вас, и незапятнан ничем будет образ его.

ХОДЖИСТЭ. За тебя, отец, погиб милый отрок. И если завтра Див явится снова, и потом опять, не погибнет ли за одного весь народ?

КИНОДЖА. Я принял жертву, потому-что отрок по доброй воле принес ее мне.

Действие четвертое.

Двор перед чертогом царя. Лестница в чертог. На верху ее, на площадке приготовлено высокое царское место.

Раннее утро. Солнце только что взошло. Лучи его еще не ярко, но празднично ясно озаряют всю сцену.

Немного отступя от середины лестницы, на дворе разложен костер. Огоньки только что начали выбегать из-под перепутанных, тонких и сухих стволиков. Слуги время от времени приносят новые охапки хвороста и подбрасывают их в костер.

Тело ХАЛИСА лежит у костра. ХОДЖИСТЭ плачет над ним, и рядом с нею плачет ЧУНДЕР.

Собрались правители, князья, ученые. КИНОДЖА на царском месте. Синклит властей внимает его рассказу. КАМРУ стоит на страже у чертога.

КИНОДЖА (продолжая говорить). Так спас мою жизнь верный мой слуга. Для спасения царя он не пожалел и сына своего отдать в жертву

темной силе. Камру, мой верный слуга, отныне ты будешь моим великим визирем. Ключи от моей казны доверяю тебе.

ДЖАФАР. А я? Великий царь, я служил тебе со всем усердием, не жалея ни трудов, ни сил, ни здоровья. Или ты забыл мою верную службу? Или все мои труды вменяешь ты ни во что?

КИНОДЖА. Тому, кто в силе, все служат верно и с усердием, а кто обманывает сильного владыку, тот теряет вместе с головою жизнь. Я оставлю тебе твою мудрую голову, и от тебя возьмут только облачение визиря. Перед высокою властью не все ли подвластные равны? Ты, как и все, в этой стране живущие, раб мой, и весь ты в воле моей. Ныне, раб среди рабов, войди в толпу слуг моих. Ближе других встань к моему высокому престолу, чтобы я всегда слышал твои мудрые советы. А золотую цепь, и ключи золотые, и золотом шитый плащ сними и отдай ему, моему верному Камру, которого я из стражей моего чертога возвожу в великие визири.

ДЖАФАР (ворчит). Из грязи да в князи.

Рабы подходят к ДЖАФАРУ, снимают с него цепь и златошитый плащ, а от пояса отвязывают золотые ключи. И делают все это с рабским злорадством и гнусным смешком. Цепь и плащ надевают на КАМРУ, и ключи передают ему. КАМРУ, облеченный знаками своего нового достоинства, склоняется перед царем.

Костер разгорается. ХАЛИСА рабы кладут на костер.

Перед костром возникает ДИВ. Пламя костра стелется по земле, весь костер обволакивается густым дымом.

ДИВ (повелительно). Царь, отдай Халису дочь свою, Ходжистэ, прекраснейшую из дев земных.

КИНОДЖА. Халис мертв. Как мертвому отдам я мою дочь, прекраснейшую из дев земных?

ДИВ, Царь, отдай ему твою дочь.

КИНОДЖА. Тело его сгорит. Как я отдам мою дочь развеянному по ветру пеплу?

ДИВ. Царь, отдай ему твою дочь.

ХОДЖИСТЭ. Отец, отдай меня в жены милому отроку. С ним вместе взойду на костер, где великая пламенеет любовь, достойная дочери великого царя.

Из дыма возникает пламенем одетая ЗМЕЯ, живущая в огне.

ЗМЕЯ. Царь, дочь твоя принадлежит мне. Душу свою она отдала этому милому отроку в тот зачарованный миг, когда подарила ему свой плащ.

КИНОДЖА. Ты говорила с отроком? Ты что-то подарила ему?

ХОДЖИСТЭ. Да, я подарила милому отроку мой плащ, потому-что он был полунаг и дрожал от холода, и его стройные ноги были обнажены. Я отдала ему мой плащ, и вместе с плащом отдала ему мою душу. Отец, отпусти меня к милому моему.

КИНОДЖА. Пламенной вести кто смеет не верить? Приходящему в огне надо повиноваться. Дочь моя, иди к тому, кому ты отдала свою душу. Узнает мудрая змея, что сильнее, огонь ли погребального костра, роса ли твоих слез. Огонь ли упадет на землю, своим же задушенный дымом, тела ли ваши распадутся в бешеной игре стихийных сил.

ХОДЖИСТЭ подходит к костру. Дым обнимает ее. Она колеблется, дрожит, закрывает глаза рукою, и потом, вдруг решившись, бросается к костру.

ЗМЕЯ. Ты — моя добыча. Почему же ты пришла ко мне добровольно отдать свою душу? Я больше люблю когда жертва плачет, и не хочет, и сопротивляется, и ее влекут ко мне силою.

ХОДЖИСТЭ. Я иду к моему милому.

Дым разрывается на клочья, уносимые ветром. Костер ярко пылает. Из пламени выходит ХАЛИС. Лицо его радостно, кудри, как ветром колыхимое пламя, и одежда легка и бела, как влажный и туманный дым.

ЗМЕЯ. Испепеленный ли восстанет? Добыча моя!

ХОДЖИСТЭ наступает ногою на ее голову. ЗМЕЯ шипит, и вдруг рассыпается золотыми искрами. Костер быстро вспыхивает необычайно ярко, и вдруг сильным порывом ветра весь пылающий хворост разносится и исчезает в воздухе. Солнце сияет ярко.

ХАЛИС обнимает свою ХОДЖИСТЭ.

КИНОДЖА. Восстал отрок. Что же мне делать? В душе моей — великое смятение.

ДЖАФАР. Не всякий ли, живущий на этой земле, раб неведомой и темной силы? Он восстал из огня, он, который спас тебе вчера жизнь. Знаешь ли ты пределы его чар и его могущества?

Чтобы не было тебе от него или от его покровителей великого зла, поспеши, возведи его на твое высокое царское место,— пусть царствует он, а ты, бывший царь, наслаждайся покоем.

КИНОДЖА. Змеиною мудростью внушена тебе твоя речь. Но счастлив тот, кто и змеиный голос в должный срок услышит. Халис, отныне ты — царь в Табаристане.

Среди общего изумления и волнения, сопровождаемый разнообразными восклицаниями, КИНОДЖА сходит с престола и удаляется в чертог.

ХАЛИС и ХОДЖИСТЭ восходят на царское место. Минута затаившегося в тишине внимания сменяется общим ликованием. Народ так радуется перемене власти, как будто сам участвовал в этом и к власти причастен.

Федор Сологуб.

СТИХОТВОРЕНИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО.

ЛЕТО

Над одуванным бережком
Жарой струит, переливает;
Пушинки легкие летком
В летенник легкий улетают.

Вскипит зеленый лепетай,
Ветвистым лапником (1) присвиснет;
Звененьем комариных стай
Густой, ознойный воздух виснет

Над пересушенным листом
И над муругим мухомором...
В полях пройдет пустым винтом;
Дохнет: полуденным измором.

Высокий вихорь полевой,
Народ пугая, но — не очень, —
Густой, косматой головой
Взвивает чернохохлый клочень;

Затеяв дутый пустопляс,
Заколобродит по дорогам,
Забудет мутью в рот и в глаз.
И — разрывается над логом (2).

Тропой обрывистой меня
Из дня уводит в прелый тинник
Глухая, хрусткая лазня (3)
Сквозь сухорукий хворостинник;

---

1) Ветвь (народное выражение). — 2) Овраг. — 3) Лазейка, щель, проход (Нар. выр.)

Журчит железистый ржавец;
И — моховатое болото,
Где из гнезда шипит птенец, —
Слепой беспёрый, желторотый;

И там, где травы - ползунки,
Где в жар пересыхают броды,
Там — сероперые чирки [1])
И — пестроперые удоды...

Уже слезливые кусты —
Алмазноглазы, сыры, сыты;
Уже с небесной высоты
Слезятся в вечер лазулиты [2]).

И молний миглая игра
Очнется в ночи: месяц — льдинка...
И — ночи первая пора...
И — неба первая звездинка...

[1]) Дикие утята. — [2]) Топазы.

БЛАГОНАМЕРЕННЫМ.

Благонамеренные люди
Благоразумью преданы:
Не им, не им мечтать о чуде
Не им святые ерунды.

О, нелетающие! К тверди
Не поднимающие глаз!
Вы — переломанные жерди:
Жалею вас — жалею вас!

Не упадет на ваши бельма
(Где жизни нет — где жизни нет!) —
Не упадет огонь Сент-Эльма
И не обдаст Дамасский Свет.

О, ваша повесть так спокойна
И ваша совесть так ясна:
Так небезумно, так пристойно
Дойти до дна, дойти до дна!

БЕССОНИЦА

Мы — безотчетные: безликою судьбой
Плодим великие вопросы;
И, безотличные, — привычною гурьбой
Прозрачно носимся, как дым от папиросы.

Невзрачно сложимся над пологом окна
Над Майней месячной, над брошенною брызнью,
Всего на миг один — (а ночь длинна, длинна!) —
Всего на миг один: сияющею жизнью...

Тень, тихий Чернодум, выходит из угла,
Забродит мороком ответов,
Заводит шорохи... Мутительная мгла
Являет ворохи разбросанных предметов.

Из ниши смотрит шкаф: и там — немой арап
Тишайше строится насмешливою рожей...
Но время бросило свой безразличный крап:
Во всех различиях — все то же, то же, то же.

И вот стоят они... И вот глядят они,
Как дозирающие очи, —
Мои сомнением испорченные дни,
Мои томлением искорченные ночи.

СТИХОТВОРЕНИЯ ВЛ. ХОДАСЕВИЧА.

ДУША.

Душа моя—как полная луна:
Холодная и ясная она.

На высоте горит себе, горит,
Но слез моих она не осушит.

И от беды моей не больно ей,
И ей невнятен стон моих страстей.

А сколько здесь мне довелось страдать—
Душе сияющей не стоит знать.

* * *

Психея! Бедная моя!
Дыханье робко затая,
Внимать не смеет и не хочет:
Заслушаться так жутко ей
Тем, что безмолвие пророчит
В часы мучительных ночей.

Увы! за что, когда все спит,
Ей вдохновение твердит
Свои пифийские глаголы?
Простой душе невыносим
Дар тайнослышанья тяжелый.
Психея падает под ним.

БУРЯ.

Буря! Ты армады гонишь
По разгневанным водам.
Тучи вьешь и мачты клонишь,
Прах подъемлешь к небесам.

Реки вспять ты обращаешь,
На скалы бросаешь понт...
У старушки вырываешь
Ветхий, вывернутый зонт.

Вековые рощи косишь,
Градом бьешь посев полей,—
Только мудрым не приносишь
Ни веселий, ни скорбей.

Мудрый подойдет к окошку,
Поглядит, как бьет гроза,—
И смыкает понемножку
Пресыщённые глаза.

ДЕНЬ.

Горячий ветер, злой и лживый,
Дыханье пыльной духоты.
К чему, душа, твои порывы?
Куда еще стремишься ты?

Здесь хорошо. Вкушает лира
Свой усыпительный покой
Во влажном сладострастьи мира,
В ленивой прелести земной.

Здесь хорошо. Грозы раскаты
Над ясной улицей ворчат,
Идут под музыку солдаты,
И бесы юркие кишат:

Там разноцветные афиши
Спешат расклеить по стенам,
Там скатываются по крыше
И падают к людским ногам.

Тот ловит мух, другой танцует,
А этот, с мордочкой тупой,
Бесстыжим всадником гарцует
На бедрах ведьмы молодой.

И, верно, долго не прорвется
Блистательная кутерьма,
И с грохотом не распадется
Темнолазурная тюрьма;

И солнце не устанет парить,
И поп, деньку такому рад,
Не догадается ударить
Над этим городом в набат.

ИЗ ДНЕВНИКА

Мне каждый звук терзает слух,
И каждый луч глазам несносен.
Прорезываться начал дух,
Как зуб из-под припухших десен.

Прорежется — и сбросит прочь
Изношенную оболочку.
Тысячеокий — канет в ночь,
Не в эту серенькую ночку.

А я останусь тут лежать —
Банкир, заколотый апашем, —
Руками рану зажимать,
Кричать и биться в мире вашем.

ИЗ ОКНА.

1.

Нынче день такой забавный:
От возниц, что было сил,
Как умчался своенравный;
Мальчик змей свой упустил;
Вор цыпленка утащил
У безносой Николавны.

Но — настигнут вор нахальный,
Змей упал в соседний сад,
Мальчик ладит хвост мочальный,
И коня ведут назад:
Восстает мой тихий ад
В стройности первоначальной.

2.

Все жду: кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль.
Зевака бледный окровавит
Торцовую сухую пыль.

И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда.
Звезда на землю оборвется,
И станет горькою вода.

Прервутся сны, что душу душат,
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром—лишнюю свечу.

Владислав Ходасевич.

СТИХОТВОРЕНИЯ В. ЗОРГЕНФРЕЯ.

ТЕРСИТ.

Вослед теням героев и царей
Скользну и я, презренный и лукавый,
И стану там, где сумерки серей,
Поодаль—дожидаться переправы.

Когда ж причалит легкая ладья
И павших примет в сладостное лоно,
Мне места не достанет в ней, и я
Застыну над обрывом Ахерона.

Беглец и трус, я оглянусь с тоской,
Но там укор и девы-Эвмениды...
И я замру над мертвою рекой
Мертвящим изваянием обиды.

* *
*

Пытал на глухом бездорожьи
У мертвенных чисел, у книг,
Но тяжкой премудрости Божьей
Свободной душой не постиг.

Извечно, торжественно, свято—
Положен во гроб и отпет,
И в мире, где был он когда-то,
Его, первозданного, нет.

Но тайну томленья земного
Творит неустанно Господь,
И в явь претворяется слово,
И дух облекается в плоть.

Не латником в тверди небесной,
Водителем благостных сил,
Нет, к жизни и скудной и тесной
Создатель его воскресил.

Безрадостна доля вторая,
Безвестна, бездумна, бедна:
В дощатые стены сарая
Пустынная бьется весна.

Там пахнет травой прошлогодней,
И тучи косятся в окно,
И тлеет в истоме Господней
Прорытое влагой зерно.

В углу, за поленницей ржавой,
Скребется голодная мышь...
Ты, Сильный, Ты, Крепкий, Ты, Правый,
На нем свою волю творишь!

Грызет и скребется у щели
И точит кору, не спеша,
И в скользком, отверженном теле
Ликует живая душа.

Так вот она, низкая доля,
Предел вдохновенной тщеты—
Проталины чахлого поля,
Прибитые ветром кусты...

Окутаться сумраком топким,
Дрожать в непогоду и дождь
И славить дыханием робким
Твою милосердную мощь.

ЗЕМЛЯ.

И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона и Мессины.

Ал. Блок.

Кружит, в веках прокладывая путь,
Бескрылая, плывет неторопливо,
И к солнцу поворачивает грудь,
И дышит от прилива до отлива.

Отроги гор — тугие позвонки —
Встают грядой, застывшей в давней дрожи,
И зыблются покатые пески
Изломами растрескавшейся кожи.

На окуляр натягивая нить,
Глядит в пространства звездные астроном
И тщится бег свободный подчинить
Незыблемым и мертвенным законам.

А химика прокисленная длань
Дробит куски разрозненного тела,
И формула земли живую ткань
В унылых письменах запечатлела.

Но числам нет начала и конца,
И веет дух над весом и над мерой —
А камни внемлют голосу певца,
И горы с места двигаются верой.

Удел земли — и боль, и гнев, и стыд,
И чаянье отмстительного чуда,
И вот, доныне дерево дрожит,
К которому, смутясь, бежал Иуда.

И кто пророк? Кто скажет день и час,
Когда, сорвавшись с тягостного круга,
Она помчит к иным созвездьям нас,
Туда, где нет ни Севера, ни Юга?

Как долго ей, чудовищу без пут,
Отыскивать в веках себе могилу,
И как миры иные назовут
Ее пожаром вспыхнувшую силу?

* * *

Вот и все. Конец венчает дело.
А, казалось, делу нет конца.
Так покойно, холодно и смело
Выраженье мертвого лица.

Смерть еще раз празднует победу
Надо всей вселенной—надо мной...
Слишком рано—я ее объеду
На последней, мертвой, на кривой.

А пока что в колеснице тряской
К Митрофанью скромно путь держу;
Колкий гроб окрашен желтой краской,
Кучер злобно дергает вожжу.

Шаткий конь брыкается, и скачет,
И скользит, разбрасывая грязь,
А жена идет и горько плачет,
За венок фарфоровый держась. —

«Вот и верь, как говорится, дружбе,
Не могли в последний раз притти:
Говорят, что заняты по службе,
Что трамваи ходят до шести.

Дорогой мой, милый мой, хороший,
Я с тобой, не бойся, я иду...
Господи, опять текут калоши,
Простужусь, и так совсем в бреду.

Господи, верни его, родного,
Ненаглядный, добрый, умный, встань!
Третий час на Думе... значит, снова
Пропустила очередь на ткань».—

А уж даль светла и необъятна,
И слова людские далеки,
И слились разрозненные пятна,
И смешались скрипы и гудки.

Там, внизу, трясется колесница
И, свершая скучный долг земной,
Дремлет смерть, обманутый возница,
С опустевшим гробом за спиной.

В. Зоргенфрей.

1920 г.

СТАРИК

I

В убогой хатке на краю деревни
Под сенью двух берез поникших, возле
Ворот скрипучих и прямой дороги,
Ведущей в поле, жил да был старик,
Бобыль безродный, век свой вековавший
Один как перст. Когда-то, может быть,
Он жил своей семьей. Но на деревне
О том никто не помнил — и казалось,
Что дедушка иным и не бывал:
Седой как лунь, с широкой желтоватой,
Не то зеленоватой бородой,
С нависшими суровыми бровями
Над кротким взглядом бледно-серых глаз
И беглою усмешкой строгих уст
Под редкими усами. В полотняной
Рубахе длинной, стан его согнутый
К земле дугой склонялся. Но подвижны
Его мозолистые руки были
И ловки на любое ремесло,
А ноги — скажешь, слабые — не знали
Усталости, и в мягоньких лаптях,
Шагавшие неслышно и неспешно,
Легко носили сгорбленное тело,
Надежно помогая старику
Привычную крестьянскую работу
Из года в год нести, да в хатке малой

Хозяйство одинокое — не хуже
Иных, да за плечами груз годов,
Не легкий груз, а с ним, того не легче,
Воспоминанья, думы долгой жизни:
Ведь как он жил-то, худо ль, хорошо ли, —
Про то он сам уж верно не забыл.
  только молчалив он был, и люди,
В нем попросту увидев чудака,
К нему привыкли. Он же не чуждался
Ни сборищ их, ни дел, о всем житейском
Судил, коль нужно, коротко и здраво,
И деревенской суетной молве
Не привелось ни знахарем его,
Ни колдуном ославить, хоть и пчелы
На пасеке водились у него
И хоть его ульи давали меду
Обильнее порой, чем у других, —
И хоть он был иных помудренее.

II

Так жил старик — пожалуй, как и все,
Иным чуден, да уж давно привычен.
И было в нем, как будто, лишь одно,
Что, хоть и просто, все же оставалось
Уж вовсе непонятным и порой
Вниманье вновь невольно привлекало, —
Хоть не надолго, правда. Дело в том,
Что каждый, каждый вечер, на закате,
Покончив круг дневных забот, из хаты
Он выходил — и не затем, чтоб мирно
И чинно на завалинке присесть,
А прямо шел неспешно за ворота,
Дорогою прямою да полями,
Все шел да шел — хоть вовсе и без дела —
Туда, к заре закатной. Изогнувшись
И на клюку кривую опираясь,
Неспешными и бодрыми шагами
Он солнце провожал. Вдали сияла —

Особо хороша на склоне лета —
И нежно, и торжественно река
Широкою необозримой гладью;
За нею бор синел — зубчатых елей
Да сосен строгих. Темной полосою,
Суровые и кроткие, склонялись
Они в прозрачную, живую влагу;
Багряные недвижные струи,
Как бы сквозь них излитые, светлели,
Желтели, золотясь, переливаясь,
В лазурь и серебро преображались,
Сливались с просветленной и недвижной
Речною ширью. Солнце провожая,
Шел старец вдоль реки и, проводив,
Спокойный, тихий к дому возвращался —
И по пути садился отдохнуть
На кладбище старинном деревенском,
На холмике могильном. Подымая
Лицо и глядя медленно вокруг,
Любил следить он отблески заката
Последние — в ветвях берез столетних,
На старых покосившихся крестах
И на могилах. Голову склоняя,
Он с ними вел безмолвную беседу,
Отрадную для странника земли,
И укреплялся ею в путь дальнейший.

III

Чем чаще он напутственно глядел
На низкое, усталое светило,
Тем больше хоронил воспоминаний
Душевных вместе с ним. Тем больше в землю
Родимых опускал. Но кротко воды
Светило принимали, что ни вечер —
И мнилась лишь единым из закатов
Кончина угасавшего собрата,
Приемлемого милою землею,
И та земля, в которую сложил

Он все, что было некогда любимо,
Ему живым дыханьем отвечала;
И та любовь, живая бесконечно,
С ним говорила голосом отшедших —
Умерших, но не мертвых. Он познал
Спокойствие, живя с землей родною,
И словно бы уведал, что не только
Земля не все взяла, но что обратно
И взятое отдаст, его сберегши
Для верного и любящего сына.
И жили с ним возлюбленные сердцем
И, близкие, его благословляли
На деланье житейское. И с ними
Отшедший день благословлял он, чтобы
Принять грядущий после мирной ночи,
Иль колыбели на земле родной.
И, поклонившись ночи и земле
С могилками родимыми своими,
Иль колыбелями грядущей жизни,
Шел тихими и твердыми шагами
Старик опять к своей убогой хатке,
Что у воротец на краю деревни
Его ждала, еще сияя слабо
Одним оконцем, как воспоминаньем
О дне почившем. Хатка и погнулась,
Но, как хозяин, крепкая, ждала
Его с своим уютом немудреным,
Теплом давно начатого труда,
Что с ним, он знал, не кончится землею.

IV

И старику в пути его возвратном
Встречались летом мальчики порою:
Гурьбой к реке раскладывать костер
Спешат отважно рыболовы. Слышит
Их говор он. И слышит, как невольно
У кладбища он робко замолкает,
А после вновь раздастся оживленней

В вечернем воздухе. На их приветы
Привычные ответит он с улыбкой.
И добрым взглядом светло-серых глаз
Из под густых нахмуренных бровей
Проводит их. И станет на пороге
Своей избушки, опершись руками
На крепкий и кривой костыль, согнувшись,
В рубахе белой длинной. Бородою
Широкою играет ветерок,
А под усами кроткая улыбка,—
Усталый, но не слабый. Ноги твердо
Стоят в онучах белых и в лаптях.
Густеет ночь и зажигает звезды.

Юрий Верховский.

Заозерье.
Осень 1918 года.

ЧУДО НА КОЛОКОЛЬНЕ.

Событие с прологом.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Звонарь-старик.
Внучка звонаря по́дросток.
Деревенский псаломщик.
Профессор механики.
Профессорша.
Красивая дочка профессора.
Образованный дачник.
Встревоженный дачник.
Негодующая дачница.
Игумен монастыря.
Хитрый монах.
Суровый монах.
Судейский чиновник.
Урядник.
Неизвестный.
Народ, дачники, стражник.

Дело происходит в дачном месте, расположенном возле старинного полуразрушенного монастыря. В монастыре живут три бедных монаха. Среди развалин уцелела дивной архитектуры колокольня с могучим звоном колоколов. Ключ от нее хранится у звонаря, живущего с внучкой в каменной келейке. За версту от монастыря деревня.

ПРОЛОГ.

Келейка звонаря, освещенная солнцем, идущим к полудню. В вырезе каменного окошка без стекла—клочок голубого неба и мельканье пролетающих голубей. Старый звонарь и пришедший к нему в гости деревенский псаломщик сидят за столом. Внучка у ног деда.

З в о н а р ь (слабым старческим голосом

Пора мне скоро зазвонить к обедне,
Да что-то бок болит, болит и колет.
А лестница трудна и высока.

Гляди, как голуби мои маячат
На вольном небе. Чует Божья птица,
Что стары стали и ленивы кости
Ее кормильца! Да крылом в окошко
Мне помавает: дескать, встань, встряхнися,
Возьми зерна в котомку...

Псаломщик

Не трудись,
Брат! Дай, схожу взамен тебя!

Звонарь

Ну нет!
Доколь я жив, звоню во славу Божью.
А как помру, так передам и ключ.

Внучка

Вон ключ висит на стенке. Да не даст
Вам дедушка, уж как вы ни просите.
Сам ходит он на звонницу, сам носит
Туда зерно для голубей, и сам,
Их покормив, дверь крепко запирает.
Таков он и в болезни.

Псаломщик

Так-то так,
Хозяйский глаз во всяком деле важен,
Но и врагом себе не надо быть.
Ты, брат, уж не сердись, ты, брат,—того,
Немножко болен; спал с лица и малость
Ты видом плох, так—я тебе по дружбе!

Звонарь (вставая, странным голосом)

Нет, я не болен, я совсем здоров,
Совсем здоров. Манюша, где котомка?
Да что вы пол качаете... ох, ох,
Держи меня, держи, качнулись стены,

Все кружится, ногой ступить боюсь...
Пришел мой час! Прими Господь. Простите,
Вы люди добрые.

(Тихо валится наземь)

Внучка (кидаясь к нему)

Знать, помер!
Ох, дедушка, ох, дед, да на кого-ж,
Да как-же я... Ох, дед ты мой родимый!

(Рыдает)

Псаломщик (нагнувшись к звонарю)

Да отошел он. Царствие ему
Небесное... Помрем и мы, не плачь!
Ведь смерть не хлеб, на всякого хватает.
А ты, того, чем плакать, ты обмой
Покойника, да заготовь холстину.

(На колокольне сильный звон)

Внучка (внезапно прислушившись)

Вы слышите?.. Прислушайтесь, звонят!
На звоннице к обедне зазвонили!

Псаломщик

И впрямь звонят.

Внучка

Во все колокола!
Да как-же так? Ведь ключ у нас на стенке.

Псаломщик

Нечаянно покойник позабыл
Перевернуть его в замке.

Внучка

Быть может.
А все-таки сходите посмотреть.

Псаломщик

Пойти—пойду (уходит).

Внучка (снова плача)

Да на кого ты кинул
Меня, родной! Куда теперь итти?
Кто приютит сиротку, кто накормит?
(Входит псаломщик, улыбающийся)

Псаломщик (торжественно)

Явил Господь свою над нами милость!
Не плакать нужно, а прославить Бога,
Как душу Он усопшего прославил.
Свят, свят Господь! Утри глаза, дитя!

Внучка

Дверь отперта?

Псаломщик

Нет, заперта она,
Дверь заперта, и, как при старике,
На ней висит замок тяжеловесный.
Никто не мог проникнуть в колокольню.

Внучка

А как-же звон?

Псаломщик

Воздай хвалу Творцу!
То голуби слетелись шумной стаей
Да за веревки клювиками взялись,
И вьют крылами в воздухе, и вниз
Летят гурьбой, и так колокола
То вверх, то вниз, то вверх, то вниз качают.
Взгляни в окно!

Внучка (высовываясь из окна, радостно).

Как много голубей!
Я вижу, вижу, дергают веревку!
И клювами смешно ее сжимают,
И перышки топырят от усилья...
Вот видел-бы родимый!

Псаломщик (широко улыбаясь)

Видит он!
Кто смерть увидел, тот увидел все.

(Оба стоят, высунувшись в окошко. Раздается стук, затем дверь открывается и входит образованный дачник в белом летнем костюме с цветком в петлице, желтым французским томиком в кармане и альбомом для рисованья в руках. Говоря, картавит).

Образованный дачник (медленно и с весом)

Я к сторожу. Где сторож?.. Почему
Не смотрят за порядком? Там снаружи
Висит замок, а наверху звонят
Как дикие. Откройте колокольню!
Я должен срисовать оттуда вид.

Внучка

Простите, барин. Дедушка скончался.

Образованный дачник (увидев тело)

Ай, тут мертвец! Жаль, жаль, а я, как раз,
Сегодня в рисовальном настроеньи...
Celà fait frémir... Mais puisqu'il ne vit plus
Зачем его вы держите в стенах
Монастыря? Здесь дачники, здесь дамы!
Пошлите за полицией, пускай
Распорядятся!

Псаломщик

Барин, будет все.
Но вы, того, теперь повремените.
Там голуби звонят в колокола.

Образованный дачник (с досадой)

Не голуби, а шутники, должно быть.
А что до голубей, то право их
Старик развел довольно, чтоб на шляпу
Всех проходящих капало. Вот дичь
Отеческих курортов!—Некультурность,
Нечистоплотность, тьма и суеверье!

(Он рассерженно уходит, хлопнув дверью).

ДЕЙСТВИЕ.

Колокольня только что отзвонила. Все ее карнизы усеяны отдыхающими голубями. Внизу галдит и глазеет народ: мужики и бабы из деревни, дачники и дачницы. Мальчишки камнями пытаются сшибить голубей.

Слева выходят: тощий профессор механики, полная профессорша и красивая их дочка.

Профессор (назидательно)

Когда вам преподносится явленье,
На первый взгляд противное рассудку,
Тотчас-же говорите: факты лгут,
Лжет видимость, лжет орган восприятья.
И строгую научность соблюдая,
В нелепости ищите вы закон.

Профессорша

Уймись, Игнатий, от твоих речей
В жару такую просто уши вянут!
Чуть что,—ты речь, как будто мы студенты.

Дочка

Maman, смахните пудру возле носа,
Вот так. Теперь еще, на подбородке.

Профессор

У женщины чутья проблем не больше,
Чем у лягушки!

Профессорша

Где нам! Но зато
Вы, умники, из каждой глупой бабы
Себе проблему создали. Pauline,—
Смотри, кто это в белой шляпе? Ах,
Какой он интересный!

Дочка

Это дачник,
Живет один, учился заграницей
И, кажется, со средствами.

Профессорша

Идет к нам...
Я не вспотела? Волосы в порядке?

Дочка

Все хорошо.

Образованный дачник (подходя к дочери профессора)

Bonjour, mademoiselle!
Как вы рискнули выйти в этот полдень?

Дочка

Bonjour.

Профессорша (кокетливо)

Да, да, вы совершенно правы.
Здесь климат, как у тропиков. Сейчас
Лежать бы в гамаке под опахалом,
А не толкаться с этим грязным людом.

Образованный дачник

Madame, вы экзотичны.

Профессорша

Обожаю
Все африканское, за исключеньем
Одной жары!

Образованный дачник (стараясь обратиться к дочке через плечо мамаши)

A mademoiselle?

Дочка (равнодушно)

Мне все равно.

Профессор

Послушайте, у нас
Тут симмулируют, наживы ради,
Глупейшее, смешное, птичье чудо,
Как раз подстать для птичьего ума.
Вы слышали?

Образованный дачник (смеясь)

О голубях? Конечно!
Я, ха-ха-ха, скорее допускаю
Тут шутников, чем ловкую затею.

Профессор

В механике известны состоянья,
Когда, при передаточных толчках...

Профессорша (толкая его)

Уймись, ведь никому не интересно.

Встревоженный дачник (торопливо подходя)

Прошу прощенья, господа! О чем
Идет тут речь? Где звон? какая птица?
Я спал,—я в полдень сплю по предписанью
Врачей, и это очень укрепляет;—
Встаю,—жена моя в слезах...

Дочка (шопотом матери)

Женатый.

Встревоженный дачник

Детишки,—дети у меня уже
В гимназии, я сам теперь служу
По страховому делу...

Дочка (матери)

Небогатый.

Встревоженный дачник (профессору)

Детишки разбежались, кто куда.
Отец игумен заперся, прислуга
Тупа, как пробка; я того, другого,—
Никто не знает ровно ничего.
Завидел вас, ну, думаю,—долой
Условности. И вы интеллигент,
И я—интеллигент. И стало, оба
В такой глуши друг другу мы находка.
В чем дело, сударь? Сильно я боюсь,
Что это клерикальная интрига.

Образованный дачник

Пустая blague, нам на развлеченье.

Профессор (встревоженному дачнику)

Рад встретиться! Профессор Паровой,
Игнатий Саввич.

Встревоже́нный дачник

Очень, очень лестно,
Нил Перепугин.

Профессор

Дело только в том,
Что колокол без данного толчка,—
Потенции нарушил состоянье
И впал в кинезис... Но следов работы,
А также точки приложенья сил
Не видно без научных об'яснений.
И темный люд, спешащий видеть чудо
Во всем, где разуму дана задача,
Решил, что звон от голубей... Ха, ха!

Встревоженный дачник

Вы не поверите, как лестно встретить
Столь просвещенный ум. Такие речи
Мне прямо слаще музыки... Я сам
Почитывал, пописывал когда-то,
Признаюсь вам... Да что-ж мы тут стоим,
Пожалуйте, профессор, на скамейку
Вон там, в тени.

Профессор

И кстати об'ясню,
Как мы в механике с таким курьезом
Встречаемся, и как его зовем.

(Оба под руку уходят).

Образованный дачник

Отец ваш, кажется, сухой специалист?

Профессорша (не давая говорить дочери)

Совсем сухарь, в механике засохший!
Ни высших чувств, ни красоты природы,
Ни сердца женского понять не может, —
Все проза! Например, трезвон сегодня
По-моему есть указанье свыше
На что-нибудь святое,—на сродство
Двух близких душ... Невольно бьется сердце,

Потрогайте!—С тех пор, как зазвонили,
Я вся дрожу, я вся полна предчувствий.
А муж—заладил: «точки приложенья,
Кинезис да потенция»... Увы
Таков точь в точь он был и в день венчанья.
Я,—хороша, как лилия, в фате,—
Стою пред ним, а он, фату увидя,
Насчет кристаллов, оптики и клетки
Какой-то речь завел...

Образованный дачник (поддавшись на заигрыванье профессорши)

Но в клетку все-ж
Прекрасную супругу не запрятал?

Профессорша (игриво)

О нет! У ней для клетки были зубки,
И право до сих пор не притупились.

Дочка (с досадой, шопотом)

Maman, прошу вас быть приличной!

Негодующая дачница (подбегая к ним)

Вздор!
Я не позволю никому садиться
Мне на затылок, да очки втирать.
Здорово, Поля!.. Здравствуйте, голубчик.
Ищу, ищу вас—вижу на скамейке
Ваш благоверный лекцию читает.
Ну, мать моя, дожили! Срамота!

Профессорша (недовольно)

Скажите же, в чем дело?

Негодующая дачница

Как в чем дело?
Чай не оглохли? Слышали набат?
Помилуйте, я нерванная дама,

Я женщина сырая, с ревматизмом,—
Ведь в наши с вами лета ревматизм
Не шутит, как плешивость у мужчины...

Профессорша (возмущенно)

Я удивляюсь.

Негодующая дачница

Не перебивайте!
Я говорю, я женщина сырая,
Вдруг—бом, бом, бом, как будто-бы из пушки.
И где-же? На курорте для больных.
Помилуйте, такого нет закону,
Чтоб деньги с нас тянуть, да нам-же уши
Долбить колоколами по ночам.

Дочка профессора

Какая-ж ночь?

Негодующая дачница

Ты, Пелагея, девка,
Тебе пристало вскакивать чуть свет.
У девушки сон скорый, неспокойный,
И на уме бонжуры, да мерсите.
А я под утро только и засну
Да пропотеть, как надо, соберуся!

Профессорша

Увольте от подробностей таких!

Негодующая дачница

Вы перед кем стесняетесь? Вот этим?
Мальчишка он, его покойный дед
Мне предложенье делал. Был-бы внуком,
И мне, и вам по возрасту.

Профессорша

Прощайте!
Pauline, идем. Я нынче занята.

(Обе уходят. Образованный дачник плетется им вслед. Негодующая дачница, пожав плечами, бежит в другую сторону. Медленно приближаются два монаха и отец игумен).

Игумен

Боюсь Святейшего Синода, сын мой.
Начнется переписка, да запросы,
А я письма, как будто-бы печати
Антихристовой, с детства опасаюсь.
Написано—приклеено навек.

Хитрый монах

Напрасно мыслете, отец игумен,
Такие страхи. Уж давно на нас
Внимания никто не обращает.
Опять и то заметьте, что иссяк
Источник чудотворный в нашей Церкви.

Суровый монах (мрачным басом)

Иссяк, зане иссякло благочестье.

Хитрый монах (язвительно)

Пусть каждый судит о себе, а я,
Благодаренье Богу, ни скоромным
Во дни поста, ни суетною мыслью
Монашеского чина не нарушил.

Игуме́н (примирительно)

Ну, будет, братие, не станем тешить
Бесовладыку лишним суесловьем.

Хитрый монах

И то, отец игумен! Так внемлите-ж
Моим советам. Разве это жизнь?
В монастыре одни сырые стены,
Развалины,—и ни земли, ни братий,
Ни, извините, огурца на грядке,
Ни курицы. А паства, Бог свидетель,
Скорей пятак в чулке своем продержит,
Чем даст его за Божию свечу.
Живем мы аки птицы.

Суровый монах

Страждет плоть,
Зато крепчает дух.

Хитрый монах (с досадой)

Кому что нужно!
Потребно изнуренье окаянным,
А праведник вкушает с миром хлеб.
Отец игумен, я бывал в Соловках,
Был на Афоне, в Оптинскую пустынь
Захаживал, и всюду зрел довольство.
За что-же нам такая нагота?
Вот, говорю я, случай, Богом данный:
Архистратиг и воинство его,
Со всея херувим и серафимы,—
Чудесную обедню отзвонили!
Прославлен монастырь,—а там, глядишь,
И мощи чудотворные откроем,
Гостиницу воздвигнем, огород
С огурчиками выведем, коровок
Да козочек накупим,—дальше—больше,
И всяк сюда за чудом потечет.

Игумен (нерешительно)

Брат, побожись, что зрел архистратига!

Хитрый монах

В Писании божба запрещена.

(Пока монахи беседуют, народ набирается гуще и галдя окружает их. Бабы лускают семячки, мужики сердиты за потерянный день, дачники нетерпеливо доискиваются причины,—толпа недовольна, и недовольство это растет).

Голос мужика

Лупить-бы их по брюху, длиннополых,—
Пущай не мутят.

Другой мужик

Нонче в самый раз
Косить, а наши цельный день напрасно
Тут проворонили.

Баба (сплевывая подсолнух)

Небось не дети.
Тебя никто за вихры не тянул.

Дачник

Прошу не наступать мне на ногу.

Голос

Дурак!

Дачник

Что ты сказал? Ну повтори-ка!

Голос

И повторю. Сказал «дурак»—и точно.

Дачник

Хам, вот тебя за это оштрафуют,
Тогда узнаешь, как грубить. Урядник!

Смешанные голоса

— Да чтой-то в самом деле? Где закон?
— Зачем нас держат? Что за беспорядок!
— Немедленно откройте колокольню!
— Пусть об'яснят! Мы требуем причины!

Благоразумный голос

Вам сказано, урядник из деревни
Приехал. Вот ужо придет на место
С псаломщиком, и сделает дознанье.

Агитатор

Ключ у псаломщика! Слыхали, братцы?
Никто, как он,—собака, сучий сын!

(Справа сквозь толпу пробирается урядник, за ним псаломщик, внучка звонаря с ключом и стражник).

Урядник (зычно)

Эй, расступись отседа! Пшел ты, ирод.
Вас, господин, покорнейше прошу
Не напирать. Раздайся, расступись!

(Толпа открывает проход к дверям колокольни, на которых висит замок Внучка с плачем отмыкает его, и он гулко падает на землю).

Урядник (стражнику)

Присматривай.

Стражник

Дозвольте, я войду.

Урядник

Входи.

(Стражник входит и через минуту возвращается назад, ведя при торжественном молчании толпы за шиворот неизвестного. Неизвестный спокоен и задумчив, у него простое лицо, осененное бородкой, и нежные манеры).

В толпе

Ого! Никак поймали!

Урядник

Кто ты?
Откедова? Докладывай начальству.

Неизвестный

Сын человеческий.

Урядник

Не отпираться! (стражнику)
Встряхни его! Ты, милый человек,
Зачем-же в церкву Божию забрался,
А?

Неизвестный

Дом Отца—Мой Дом.

В толпе

Не сицилист-ли?

Урядник (стражнику)

Встряхни его пошибче. Будешь знать,
Как без толку трезвонить, да морочить
Честны́х людей.

Неизвестный

Звонил не я.

Урядник

А кто?

Неизвестный

Звонили голуби.

В толпе

Он юродивый!

Урядник (стражнику)

Веди его в холодную. Пущай
Там отсидит, да толком поразмыслит.
Мы разберем.

Судейский чиновник

Да наведите справку,
В деревне не случилось-ли покражи.
Я думаю, их двое. Тот звонил,
Чтоб вызвать суматоху, а другой
Наверно преспокойно вороваал.

Урядник (Неизвестному)

Ты слышишь-ли, как барин заключает?

Неизвестный

Находит всякий только то, что ищет.
Но знаю Я Своих, и те—Меня.

Урядник

Веди его. Заприте колокольню.
Отдать мне ключ. Эй, расходитесь!

Внучка звонаря

Дядя!
Не виноват он! Видела сама,
Как голуби звонили, право слово!

Урядник

Ты у меня поговори! Народ,
Поддай отседа! Время разойтиться!

Псаломщик (беря ее за руку)

Пойдем и мы. Да ты, того, не плачь.
Ведь сказано,—беру тебя с собою.
Кормлюсь один, прокормимся и двое.

(Сцена пустеет. Голуби, медленно снимаясь, стройной стаей покидают колокольню).

Мариэтта Шагинян.

Кончено 10-го января
1918 года.

ПЕЩЕРА.

Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные чем-то похожие на дома, скалы; в скалах—пещеры. И неизвестно, кто трубит ночью на каменной тропинке между скал и, вынюхивая тропинку, раздувает белую снежную пыль: может быть—серохоботый мамонт; может быть—ветер, а может быть, ветер и есть ледяной рев какого-то мамонтейшего мамонта. Одно ясно: зима. И надо покрепче стиснуть зубы, чтобы не стучали; и надо щепать дерево каменным топором; и надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру, все глубже; и надо все больше навертывать на себя косматых звериных шкур...

Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт. И завернутые в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья—пещерные люди отступали из пещеры в пещеру. На Покров Мартин Мартиныч и Маша заколотили кабинет; на Казанскую выбрались из столовой и забились в спальне. Дальше отступить было некуда: тут надо было выдержать осаду или умереть.

В пещерной Петербургской спальне было так же, как когда-то недавно в Ноевом ковчеге: потопно перепутанные чистые и нечистые твари. Мартин Мартинычев письменный стол; книги; каменновековые гончарного вида лепешки; Скрябин опус 74; утюг; пять любовно, добела вымытых картошек; никелированные решетки кроватей; топор; шифоньер; дрова. И в центре всей этой вселенной—бог. Коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный пещерный бог: чугунная печка.

Бог могуче гудел. В темной пещере—великое огненное чудо. Люди—Мартин Мартиныч и Маша—благоговейно, молча, благодарно, простирали к нему руки. На один час—в пещере весна; на один час—скидывались звериные шкуры, когти, клыки, и сквозь обледеневшую мозговую корку пробивались зеленые стебельки—мысли.

— Март, а ты забыл, что завтра.— — Ну, уж я вижу: забыл!

В октябре, когда листья уже пожолкли, пожухли, сникли—бывают синеглазые дни; запрокинуть голову в такой день, чтоб не видеть землю—и можно поверить: еще радость, еще лето. Так и с Машей: если вот закрыть глаза и только слушать ее-можно поверить, что она прежняя, и сейчас засмеется, встанет с постели, обнимет, и час тому назад ножом по стеклу—это не ее голос, совсем не она...

— Ай Март, Март! Как все... Раньше ты не забывал. Двадцать девятое: Марии...

Чугунный бог еще гудел. Света, как всегда, не было: будет только в десять. Колыхались лохматые темные своды пещеры. Мартин Мартиныч на корточках, узлом туже! Еще туже! — запрокинув голову, все еще смотрит в октябрьское небо-не увидеть пожолклые, сникшие губы. А Маша— —

— Понимаешь, Март, если бы завтра затопить с самого утра, чтобы весь день было, как сейчас! А? Ну, сколько у нас? Ну с полсажени еще есть в кабинете?

До полярного кабинета Маша давным-давно не могла добраться и не знала, что там уже.—Туже узел, еще туже!

— Полсажени? Я думаю, там...

Вдруг—свет: ровно десять. И не кончив, зажмурился Мартин Мартиныч, отвернулся: при свете—труднее, чем в темноте. И при свете ясно видно—лицо у него скомканное, глиняное; теперь у многих глиняные лица: назад—к Адаму. А Маша— —

— И знаешь, Март, я бы попробовала—может я встану... если ты затопишь с утра.

— Ну, Маша, конечно же... Такой день... Ну, конечно,—с утра.

Пещерный бог затихал, съеживался, затих, чуть потрескивает. Слышно: внизу, у Обертышевых, каменным топором щепают коряги от барки—каменным топором колют Мартина Мартиныча на куски. Кусок Мартина Мартиныча глиняно улыбался Маше и молол на кофейной мельнице сушеную картофельную шелуху для лепешек— и кусок Мартина Мартиныча, как с воли залетевшая в комнату птица, бестолково, слепо тукался в потолок, в стекла, и стены: «Где бы дров-где бы дров-где бы дров»?

Мартин Мартиныч надел пальто; сверху подпоясался кожаным поясом (у пещерных людей-миф, что́ от этого теплее); в углу у шифоньера громыхнул ведром.

— Ты куда, Март?

— Я сейчас. За водой вниз.

На темной обледенелой от водяных сплесков лестнице постоял Мартин Мартиныч, покачался, вздохнул и кандально позвякивая ведеркой, спустился вниз, к Обертышевым: у них еще шла вода. Дверь открыл сам Обертышев, в перетянутом веревкой пальто, давно небритый, лицо—заросший каким-то рыжим, насквозь пропыленным бурьяном пустырь. Сквозь—бурьян—желтые каменные зубы, и между камней—мгновенный ящеричий хвостик—улыбка.

— А Мартин Мартиныч! Что, за водичкой? Пожалуйте, пожалуйте, пожалуйте.

В узенькой клетке между наружной и внутренней дверью с ведром не повернуться—в клетке Обертышевские дрова. Глиняный Мартин Мартиныч боком стукнулся о дрова—в глине глубокая вмятина. И еще глубже: в темном коридоре об угол комода.

Через столовую-в столовой Обертышевская самка и трое обертышат; самка торопливо прятала под салфеткой миску: пришел человек из другой пещеры—и Бог знает, вдруг кинется, схватит.

В кухне, отвернув кран, каменнозубо улыбался Обертышев:

— Ну что же: как жена? Как жена? Как жена?

— Да что, Алексей Иваныч, все тоже. Плохо. Вот завтра—именины, а у меня...

— У всех, Мартин Мартиныч, у всех так, у всех, у всех...

Слышно в кухне: вспархивает, шуршит крыльями залетевшая птица, вправо-влево—и вдруг отчаянно, с маху в стену всей грудью:

— Алексей Иваныч, я хотел... Алексей Иваныч, нельзя ли у вас хоть пять-шесть полен...

Желтые каменные зубы сквозь бурьян, желтые зубы из глаз весь Обертышев обрастал зубами, все длиннее зубы.

— Что вы Мартин Мартиныч, что вы, что вы! У нас у самих... Сами знаете, как теперь все, сами знаете, сами знаете...

Туже узел! Туже,—еще туже! Закрутил себя Мартин Мартиныч, поднял ведро—и через кухню, через темный коридор, через столовую. На пороге столовой Обертышев сунул мгновенную, ящерично-юркую руку:

— Ну, всего... Только дверь, Мартин Мартиныч, не забудьте прихлопнуть, не забудьте. Обе двери, обе, обе-не натопишься!

На темной обледенелой площадке Мартин Мартиныч поставил ведро, обернулся, плотно прихлопнул первую дверь. Прислушался—услыхал только сухую костяную дрожь в себе и свое трясущееся-пунктирное, точечками-дыхание. В узенькой клетке между двух дверей протянул руку, нащупал полено, и еще, и еще... Нет! Скорей выпихнул

себя на площадку, притворил дверь. Теперь только прихлопнуть поплотнее, чтобы щелкнул замок...

И вот нет силы. Нет силы прихлопнуть Машино завтра. И на черте, отмеченной чуть приметным пунктирным дыханием, схватились на-смерть два Мартина Мартиныча: тот, давний, со Скрябиным, какой знал: нельзя,—и новый, пещерный, какой знал: нужно. Пещерный, скрипя зубами, подмял, придушил—и Мартин Мартиныч, ломая ногти, открыл дверь, запустил руку в дрова,—полено, четвертое, пятое, под пальто, за пояс, в ведро—хлопнул дверью и вверх огромными, звериными скачками. Посередине лестницы, на какой-то обледенелой ступеньке—вдруг пристыл, вжался в стену: внизу снова щелкнула дверь—и пропыленный Обертышевский голос:

— Кто там? Кто там? Кто там?

— Это я, Алексей Иваныч. Я — я дверь забыл... Я хотел... Я вернулся — дверь поплотнее...

— Вы? Гм... Как же это вы так? Надо аккуратнее, надо аккуратнее. Теперь всё крадут, сами знаете, сами знаете. Как же это вы так?

Двадцать девятое. С утра — низкое, дырявое, ватное небо, и сквозь дыры несет льдом. Но пещерный бог — набил брюхо с самого утра, милостиво загудел — и пусть там дыры, пусть обросший зубами Обертышев считает поленья — пусть, все равно: только бы сегодня; «завтра» — непонятно в пещере; только через века будут знать «завтра», «послезавтра».

Маша встала и, покачиваясь от невидимого ветра, причесалась по-старому: на уши, посередине пробор. И это было — как последний, болтающийся на голом дереве, жухлый лист. Из среднего ящика письменного стола Мартин Мартиныч вытащил бумаги, письма, термометр, (какой-то синий флакончик торопливо сунул обратно — чтобы не видела Маша) — и, наконец, из самого дальнего угла черную лакированную коробочку: там, на дне, был еще настоящий — да, да! самый настоящий чай! Пили настоящий чай. Мартин Мартиныч, запрокинув голову, слушал такой похожий на прежний голос:

— Март, а помнишь: моя синенькая комната, и пианино в чехле и на пианино — деревянный конек — пепельница, и я играла, а ты подошел сзади — —

Да, в тот вечер была сотворена вселенная, и удивительная, мудрая морда луны, и соловьиная трель звонков в коридоре.

— А помнишь, Март: открыто окно, зеленое небо—и снизу, из другого мира — шарманщик?

Шарманщик, чудесный шарманщик — где ты?

— А на набережной... Ветки — еще голые, вода — румяная, и мимо плывет последняя синяя льдина, похожая на гроб. И только смешно от гроба — потому что ясно: мы никогда не умрем. Помнишь?

Внизу начали рубить каменным топором. Вдруг перестали, какая-то беготня, крик. И расколотый надвое, Мартин Мартиныч одной половиной видел бессмертного шарманщика, бессмертного деревянного конька, бессмертную льдину, а другой — пунктирно дыша — пересчитывал вместе с Обертышевым поленья дров. Вот уже Обертышев сосчитал, вот надевает пальто, весь обросший зубами — свирепо хлопает дверью, и — —

— Погоди, Маша, кажется — кажется у нас стучат.

Нет. Никого. Пока еще никого. Еще можно дышать, еще можно, запрокинув голову, слушать голос — такой похожий на тот, прежний.

Сумерки. Двадцать девятое октября состарилось. Пристальные, мутные, старушечьи глаза — и все ёжится, сморщивается, горбится под пристальным взглядом. Оседает сводами потолок, приплюснулись кресла, письменный стол, Мартин Мартиныч, кровати, и на кровати — совсем плоская, бумажная Маша.

В сумерках пришел Селихов, домовый председатель. Когда-то он был шестипудовый, но теперь уже вытек наполовину, болтался в пиджачной скорлупе, как орех в погремушке. Но еще по-старому погромыхивал смехом.

— Ну-с, Мартин Мартиныч, во-первых, во-вторых, супругу вашу — с тезоименитством. Как же, как же! Мне Обертышев говорил...

Мартина Мартиныча выстрелило из кресла, понесся, заторопился — говорить, что-нибудь говорить...

— Чаю... Я сейчас — я сию минуту... У нас сегодня — настоящий. Настоящий! Я только...

— Чаю? Я, знаете ли, предпочел бы шампанского. Нету? Да что вы! Гра-гра-гра! А мы, знаете, с приятелями третьяго дня из гофманских гнали спирт. Потеха! Налакался. — «Я, — говорит, Зиновьев: на колени!» Потеха! А оттуда домой иду — на Марсовом поле навстречу мне человек в одном жилете, ей Богу! «Что это вы?» — говорю. — «Да ничего», — говорит. — «Вот раздели сейчас, домой бегу на Васильевский». Потеха!

Приплюснутая, бумажная, смеялась на кровати Маша. Всего себя завязав в тугой узел, все громче смеялся Мартин Мартиныч, чтобы

подбросить в Селихова дров, чтобы не перестал, чтобы только не перестал, чтобы о чем-нибудь еще...

Селихов переставал, чуть пофыркивая, затих. В пиджачной скорлупе болтнулся вправо и влево; встал.

— Ну-с, именинница, ручку. Чик! Как, вы не знаете? По ихнему,—«честь имею кланяться» — ч. и. к. Потеха!

Громыхал в корридоре, в передней. Последняя секунда: сейчас уйдет, или...

Пол чуть-чуть покачивался, покруживался у Мартина Мартиныча под ногами. Глиняно улыбаясь, Мартин Мартиныч придерживался за косяк. Селихов пыхтел, заколачивая ноги в огромные боты.

В ботах, в шубе, мамонтоподобный — выпрямился, отдышался. Потом молча взял Мартина Мартиныча под руку, молча открыл дверь в полярный кабинет, молча сел на диван.

Пол в кабинете — льдина; льдина чуть слышно треснула, оторвалась от берега — и понесла, понесла, закружила Мартина Мартиныча, и оттуда — с диванного, далекого берега — Селихова еле слыхать.

— Во-первых, во-вторых, сударь мой, должен вам сказать: я бы этого Обертышева, как гниду, ей-Богу... Но сами понимаете: раз он оффициально заявляет, раз говорит — завтра пойду в уголовное... Этакая гнида! Я вам одно могу посоветовать: сегодня же, сейчас же к нему — и заткните ему глотку этими самыми поленьями.

Льдина — все быстрее. Крошечный, сплюснутый, чуть видный— так, щепочка — Мартин Мартиныч ответил — себе; и не о поленьях — нет; о другом:

— Хорошо. Сегодня же. Сейчас же...

— Ну вот и отлично, вот и отлично. Это — такая гнида, такая гнида... я вам скажу...

В пещере еще темно. Глиняный, холодный, слепой — Мартин Мартиныч тупо натыкался на потопно перепутанные в пещере предметы. Вздрогнул: голос, похожий на Машин, на прежний:

— О чем вы там с Селиховым? Что? Карточки? А я, Март, все лежала и думала: собраться бы с духом — и куда-нибудь, на юг что ли... Ах, как ты гремишь! Ну как нарочно. Ведь ты же знаешь—я не могу, я не могу, не могу!

Ножом по стеклу. Впрочем — теперь все равно. Механические руки и ноги. Поднимать и опускать их — нужно какими-то цепями, лебедкой, как корабельные стрелы, и вертеть лебедку — одного человека мало: надо троих. Через силу натягивая цепи, Мартин Марти-

ныч поставил разогреваться чайник, кастрюльку, подбросил последние Обертышевские поленья.

— Ты слышишь, что я тебе говорю? Чтож ты молчишь? Ты слышишь?

Это, конечно, не Маша, нет, не ее голос. Все медленней двигался Мартин Мартиныч, ноги увязали в зыбучем песке, все тяжелее вертеть лебедку. Вдруг цепь сорвалась с какого-то блока, стрела-рука — ухнула вниз, нелепо задела чайник, кастрюльку — загремело на пол, пещерный бог змеино шипел. И оттуда, с далекого берега, с кровати — чужой, пронзительный голос:

— Ты нарочно! Уходи! Сейчас же! И никого мне — ничего, ничего не надо, не надо! Уходи!

Двадцать девятое октября умерло, и умер бессмертный шарманщик, и льдина на румяной от заката воде, и Маша. И это хорошо. И нужно, чтоб не было невероятного завтра, и Обертышева, и Селихова, и Мартина Мартиныча, чтобы умерло все.

Механический, далекий Мартин Мартиныч еще делал что-то. Может быть, снова разжигал печку, и подбирал с полу в кастрюльку, и кипятил чайник; и может быть, что-нибудь говорила Маша — не слышал: только тупо ноющие вмятины на глине от каких-то слов, и от углов шифоньера, стульев, письменного стола.

Мартин Мартиныч медленно вытаскивал из письменного стола связки писем, термометр, сургуч, коробочку с чаем, снова — письма. И, наконец, откуда-то с самого со дна — темносиний флакончик.

Десять: дали свет. Голый, жесткий, простой, холодный, как пещерная жизнь и смерть — электрический свет. И такой простой — рядом с утюгом, 74-м опусом, лепешками — синий флакончик.

Чугунный бог милостиво загудел, пожирая пергаментно-желтую, голубоватую, белую бумагу писем. Тихонько напомнил о себе чайник — постучал крышкой. Маша обернулась:

— Скипел чай? Март, милый, дай мне— —

Увидела. Секунда, насквозь пронизанная ясным, голым, жестоким электрическим светом: скорченный перед печкой — Мартин Мартиныч; на письмах — румяный, как вода на закате, отблеск; и там — синий флакончик.

— Март... Ты... ты уже хочешь...

Тихо. Равнодушно пожирая бессмертные, горькие, нежные, желтые, белые, голубые слова — тихонько мурлыкал чугунный бог. И Маша — также просто, как просила чаю:

— Март, милый! Дай мне!

Мартин Мартиныч улыбнулся издалека:

— Но ведь ты же знаешь, Маша: там — только на одного.

— Март, ведь меня все равно уже нет. Ведь это уже не я — ведь все равно я... Март, ты же понимаешь — Март, пожалей меня! Март!

Ах, тот самый — тот самый голос... И если запрокинуть голову вверх...

— Я, Маша, тебя обманул: у нас в кабинете — ни полена. И я пошел к Обертышеву, и там между дверей... Я украл — и Селихов... Я должен сейчас отнести назад,— а я всё сжег—я всё сжег—всё!

Равнодушно задремывает чугунный бог. Потухая, чуть вздрагивают своды пещеры и чуть вздрагивают дома, скалы, мамонты, Маша.

— Март, если ты меня еще любишь... Ну, Март, ну, вспомни.

Бессмертный деревянный конек, шарманщик, льдина... Мартин Мартиныч медленно встал с колен. Медленно, с трудом ворочая лебедку, взял со стола синий флакончик и подал Маше.

Она сбросила одеяло, села на постели румяная, быстрая, бессмертная — как тогда вода на закате, схватила флакончик, засмеялась.

— Ну вот видишь: недаром я лежала и думала — уехать отсюда. Зажги еще лампу — тут, на столе. Так. Теперь еще что-нибудь в печку.

Мартин Мартиныч, не глядя, выгреб какие-то бумаги из стола, кинул в печь.

— Теперь... Иди погуляй немного. Там, кажется, луна — моя луна: помнишь? Не забудь — возьми ключ, а то захлопнешь, а открыть... Кто откроет?

Нет, луны не было. Низкие, темные, глухие облака-своды, и все — одна огромная, тихая пещера. Узкие, безконечные проходы между стен; и похожие на дома темные обледенелые скалы; и в скалах — глубокие, багрово-освещенные дыры: там; в дырах, возле огня — на корточках люди. Легкий ледяной сквознячёк сдувает из-под ног белую пыль, и никому неслышная — по белой пыли, по глыбам, по пещерам, по людям на корточках — огромная, мерная, поступь какого-то мамонтейшего мамонта.

Евг. Замятин.

СПБ. 1920.

СОЛНЦЕ НАД МГЛОЮ.

(Афоризмы)

1

Большею частью верно обратное: не ищите, и обрящете. Только так обрящете все, чего стоило бы искать: истину своего разумения и праведность своей жизни, покой душевный, прочную славу и счастие. Напротив, «ищите, и обрящете» верно в применении к дурным или малоценным вещам: к власти, блеску и богатству, дешевой славе и мимолетной удаче.

«Не ищите, и обрящете» практически значит: делай каждое твое дело, дело этой минуты, всей твоей силою—так, как тебе в эту минуту кажется правильным его сделать. И только: т. е. не думая ни о каких принципах и ни о каких общих последствиях. Твой простодушный добросовестный труд или поступок полон неразрушимых частиц твоей праведности, твоей славы и твоего счастия. Только из таких частиц складываются подлинные и несокрушимые праведность, слава и счастие человека. Все же другое рано или поздно рушится или выветривается.

2

Благо тому, кто не думает! У него-то и рождаются наилучшие мысли: внезапные и яркие, как молнии ночью.

3

По правилу гигиены надо есть только при голоде и в меру голода. Поэтому любознательность, подобно своему телесному двойнику— обжорству, есть болезнь. В первобытные времена человек искал или жадно воспринимал каждый раз только то знание, которое могло по-

мочь ему в решении внутренней или внешней задачи, мучившей его в ту минуту. Это было наилучшее учение. Потом, умудренные опытом, люди приучились запоминать встречные знания без прямой нужды, про запас, когда угадывали в них соприродность со своими нуждами; и это было еще хорошее учение. Отсюда развилась нынешняя любознательность, без голода алчущая всякого знания. Плодотворно только то знание, которое властно привлекается личной волей и непосредственно устремляется к ней; мертво и вредно знание, воспринятое разумом и сложенное в память.

Но обжорство отвратительно, любознательность же в ее высшем напряжении трогательна, потому что она именно—болезнь духа, потому что она в личности бескорыстна. Ученый, больной любознательностью, создает научное открытие, как больной моллюск—жемчужину. Как известно, лучшие жемчужины не имеют собственного цвета.

4

Русский привет расставания: «прощай!» удивительно хорош по смыслу. Прежде всего, не о чем-нибудь другом, а о прощении; и притом: не теперь однократно прости, но прощай непрестанно во все время разлуки; каждый раз, как вспомнишь обо мне,—прости, чем я тебя обидел. Уж наверное чем-нибудь да обидел: ведь я только человек.

Но как безобразно это слово по звукам! Пр и особенно щ а й. Пушкин писал: «Прощай, свободная стихия!» и к лошади: «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга»,—но в обращении к одушевленным существам, кажется, неизбежно употреблял более мягкое «прости», наперекор народному языку, который почти не знает «прости» в смысле привета: «Прости, он рек, тебя я видел», «Прости ж и ты, мой спутник странный».

Или «прощай» сделано нарочито-грубым и отрывистым, чтобы не выдать чувства, чтобы не дать проступить над губою стыдливой, жалкой, кривой улыбке?

Но и это прекрасное слово уже умерло. Оно высохло и затвердело.

5

Данте сказал: Multo humanius est sentiri, quam sentire; т. е. человек гораздо более желает быть воспринимаемым, чем воспринимать. Ту же мысль еще лучше выражает французское речение: la joie

d'être cause. Наблюдение верное и глубокое! Стремление быть причиной—несомненно постоянный и сильнейший позыв человеческого духа, главный стимул всякой деятельности и всякого творчества. Жить изо-дня в день, ничего не причиняя,—смерть, а сознание: я был причиной такого-то явления—самая сладкая награда человеку; вбив утром в стену гвоздь для полотенца, вы еще раза два в течение дня, проходя мимо, с довольным чувством взглянете на него. Та воля к власти, о которой говорил Ницше, есть в сущности только стремление занять такое положение в мире, чтобы иметь возможность быть причиною большого количества явлений, почти универсальной причиной. Всего яснее это побуждение, как основная пружина воли, обнаруживается в ребенке. Он стучит ложечкой по столу, чтобы чувствовать себя причиной звука; если вы выразите ему ваше неудовольствие,—он начнет стучать вдвое громче, потому что теперь к той первой радости присоединяется еще бо́льшая—знать себя причиною вашего душевного состояния. Правильная педагогика для раннего возраста должна быть всецело основана на учете этого закона. Для ребенка нет ничего слаще, как быть причиною душевных состояний, и сильный гнев—ему большая награда, чем похвала; он радуется преимущественно количеству вызванной им эмоции, которое знает тотчас и безошибочно помимо всяких внешних признаков. Поэтому ответное волнение воспитателя, но подлинное, не скрытое и не деланное,—как вожжи для ребенка; своим ответным чувством он легко может приучить ребенка к одним рядам проявлений и отучить от других.

И все же Данте неправ; в его изречении—лишь половина истины, и меньшая. Цель человека одна: восприятие, потому что восприятием он кормится, крепнет и утверждает себя; всегда восприятие, все лучшее, все высшее восприятие. А становясь причиной явления, он сам создает себе объект восприятия; итак, его радость быть причиной есть радость не творчества, а стяжания. Большинство восприятий вонзается в нас помимо нашей воли; не часто человеку приводится самому создавать себе объекты своих восприятий, потому он в этих случаях и рад, и горд. Цель человека—sentire, sentiri—только средство.

6

Все наши игры и почти весь спорт—борьба на победу. Футбол, лаунтеннис, крикет и крокет, бега и гонки, биллиард и кегли, карты, шашки и шахматы,—все до тончайшей из них—построены к одному

концу—к победе. Наши игры—вражда, и конец их подобен убийству. Мы не играем, как дети,—чтобы играть; нам и в игре нужно то же возбуждение, которым нас охмеляет деловая жизнь: расчет и усилие на победу, сладость торжества над врагом; в игре, как в жизни, наше стремление одно: повалить противника и наступить ему на грудь пятою; партнер в игре—непременно враг. Я это живо почувствовал недавно, объявляя шах и мат моему сыну, самолюбивому мальчику; я понял, что делаю ему больно и что будь на его месте чужой и взрослый, я ликовал бы весельем победителя.

Отсюда явствуют два любопытных закона, говоря естественнонаучно: во-первых, что и в деловой жизни бескорыстная жажда победы есть, вероятно, второй и равносильный стимул на ряду с материальной корыстью, потому что игры радуют часто без всякой добычи, одним выигрышем; во-вторых, что стремление побеждать, т. е. удостоверяться в своей сравнительной мощи среди людей, есть вообще одно из главных стремлений человеческой воли. Жизнь в обществе все еще—война каждого против всех, и каждый, как Англия, хочет во всякую минуту знать свой флот сильнейшим между флотами других морских держав. Когда люди разоружатся в жизни,—а такое время наступит,—тогда сами собою явятся не-победные игры для взрослых, игры для игры, т. е. для веселья в общении.

7

Читать афоризмы—тоже обжорство, поэтому их не следует читать. Но писать их можно, и даже печатать. Можно печатать даже афоризмы о вреде чтения афоризмов,—их тоже прочтут. Мне, и теперь—в особенности можно; во-первых, потому, что я не умею последовательно мыслить, во-вторых, потому, что я лежу выздоравливая так что мне и скучно, и немного весело. Стоят летние дни, мое окно открыто в сад,—теперь зреют подсолнечники, которые я так люблю; петухи и подсолнечники—мои любимцы.—Тут меня озаряет горделивая мысль: я сам—подсолнечник, и любознательные будут щелкать мои афоризмы, как подсолнухи.

8

Природою предписаны особи два долга: во-первых, утверждать самое себя, во-вторых, продолжать род. Поэтому, когда один человек отдает другому, хотя бы брат брату, половину своего яблока, его по-

ступок объективно-противоестествен, субъективно прекрасен, потому что личности трудно идти против инстинкта. Здесь, и только здесь,— в этике,—человек принципиально отказывает природе в повиновении; и этот бунт мы все одобряем. Пока люди преступают только в малом, в большом же лишь единицы действительно преступают закон природы, тысячи приветствуют бунт, а огромное большинство даже не подозревают его возможности,—и природа молчит; лозунгов она не слышит, а малых количеств не чувствует. Но что̀ если со временем заметная часть человечества предастся добру, наперекор исконному велению природы: «каждый да ест про себя как можно больше»,—не разгневается ли природа за ослушание? Вы скажете: Иван отдаст Петру половину своего яблока, но ведь и Петр отдаст Ивану половину своего,—значит самоутверждение останется, только изменив свой вид.—Но для того, чтобы все были всем довольны, надо чтобы все стали на одно лицо, перестали быть личностями,—чтобы у всех был один размер голода и одинаковый вкус. В этом вся трудность. Природа все создает личным: очевидно, ей все нужно таким. Потерпит ли она полное обезличение?

9

Мой друг Ш. утверждает, что оба правы—и Дарвин, и Библия: одни люди действительно происходят от Адама, другие от обезьяны. Кальвин повидимому думал так же,—видно, его длинный нос за три века почуял дух дарвинизма; по его учению никто не может знать, от кого из двоих он происходит, но каждый должен верить, что он— от Адама. Кальвин был плохой мыслитель, но великий педагог. Пусть только каждая обезьяна верит в свое богоподобие! Знать свое происхождение мы все равно не можем, за дальностью времени и отсутствием письменных памятников. Пусть верит—в этом все; потому что самосознание человека есть его предносимый идеальный образ, которому он старается подражать.

10

Im Dunkeln sucht das Maulthier seinen Weg... Так я жил, так и живу—без всякого обдуманного плана жизни, без всякой мысли о будущем, делая каждый день ту работу, которую необходимо нужно

сделать, а в остальное время ту, которую мне в эту минуту как раз хочется делать по моей причудливой воле. Поэтому мне всякий труд был легок, хотя на мою долю выпало немало черного и скучного труда. Мне было дано какое-то непререкаемое чутье, инстинкт мула, который уверенно вел меня помимо моего сознания. За этот бесценный, счастливый дар я благодарен всей душою. Теперь, озирая свою жизнь, я каждый раз полон удивления: какая последовательность в ней—и какая чудесная предопределенность от первых лет! Не раз случалось, что смутное хотение, некогда мелькнувшее во мне и потом забытое, чрез много лет внезапно предлагалось мне извне к легкому осуществлению, и я, вспомнив и улыбаясь воспоминанию, весело брался за дело и весело доводил его до конца. У каждого человека есть свой «даймон», как у Сократа, я же, не раздумывая, во всем с готовностью послушен своему, верю ему одному, и больше ни о чем не забочусь.

11

Все делать и делать, день за днем,—точно поденщик. И уж все равно—труд ли, вынужденный необходимостью, общественным долгом, сознанием, или тот единый заветный труд, труд по призванию, которым одним дорожишь,—все равно: ты поденщик! Знаю: потребности тела, семьи, общества—я, еще несомненнее мое призвание—я же; но твердо чувствую: то и другое—только две оболочки—наружная и глубже под нею лежащая—моего настоящего «я». Глубоко во мне, в самой сердцевине, живет нечто таинственное, «ка» египтян,—я сам, и это мое подлинное «я» не хочет никакого труда, не знает никакого призвания, потому что не имеет никакого касательства до здешних дел и бесконечно чуждо им. Оно хочет одного—свободы. И когда случается изредка, что его воля к праздности возьмет верх и словно растают все внешние и внутренние понуждения,—какое безмятежное счастье разливается по членам, какое вдохновение озаряет дух и окрыляет мысль!

Кажется, плыву на белом облачке под голубым небосводом, плыву бездумно, и тишина во мне. Все помню и все сознаю, но в душе нет жала. Гляжу кругом без корысти, как путешественник осматривает праздничный город, и чу́вствую — нет средостений во мне, ровно струится по жилам единый дух, а мир глубок и прекрасен. Себя-ли вспомню — нет сожалений, и нет забот, но вижу свою жизнь чудно-преображенною и до слез трогает ее чистый трагический смысл.

12

Пасмурный день, — низко над землею висит серая пелена облаков. Знаю: там, за нею, высоко в небе стоит теперь солнце. Я сам, живущий во мне, видит невидимое солнце, а мое чувственное «я» видит лишь серую облачность. Тот вопрос — «что есть истина?» только и значит: какое из этих двух знаний верно? — Они оба истинны, но ясно, что их истинность различна: солнце всегда надо мною, облака — лишь теперь, в этот миг; они пройдут, как и мое тело истлеет, а солнце и сам я пребудут вечно. Поэтому мое видение невидимого солнца верно и надежно, — прочная истина, а мое видение серой пелены временно и случайно, — условная истина, которая через час, через день непременно окажется ложью. Все застлано туманом, но в безоблачном небе вечно стоит лучезарное солнце — я сам.

13

В черную полночь, зги не видно, петух на насести вдруг встрепенется со сна, забьет крыльями и трижды прокрикнет: ку-ка-ре-ку! Его крик, пронзая тьму, летит стрелой и вонзается в солнце: есть солнце за черной мглой! Трижды в ночь петух пронзает тьму, сквозь мнимую явь досягает сущности; не вынес бы тьмы, если бы чрез малые сроки не разрывал ее криком, и крик его — как луч пламени. О, душа моя, и ты томишься во мгле, и ты должна ежечасно воссылать молитву к невидимой сущности: «верую, что ты еси!» Среди несметной вьючной толпы бредет по темной дороге вьючный человек, тяжело нагруженный заботами. А забота есть страх и мысли, рожденные страхом; а страх — паралич души. Все мертво в душе, только тревожно бьется жила забот, да движимый ею рассудок. Но темная дорога ведет к солнцу; каждое усилие и каждый труд неодолимо влекут вперед, к солнцу. Не знает вьючный человек, что сам я, живущий в нем, — пламя солнца, что солнце своими лучами, как стальными нитями, тянет его к себе, что одно это влечение и движет его волю. Лучшего! все лучшего! Воплощенное и зримое радует только как пройденная ступень. Не чует вьючный человек незримого солнца, роется во тьме, укладывает новую ступень, и каждый раз верит, что утвердится на ней и наконец отдохнет. Хоть раз забил бы крыльями и возгласил-бы в ночь: ку-ка-ре-ку! есть солнце!

14

Цвет жизни, счастье и достоинство человека — блаженное забвение себя отдельного. В темной жизни—лишь ты, о, краткий миг беспечности, освобождаешь дух. Ты нисходишь внезапно, без причины и предчувствия, — и в то-же мгновение человек преображен; так после ненастных дней вдруг проглянет солнце, и земля сияет в свежей красоте, щебечут птицы и поникший злак оживает. Солнце в небе и солнце в сердце, тебе единому поет моя душа тобою-же вдохновленную песнь! Ты — жизнь, истина и свобода, ты — красота, радость и песнь, ты одно — действительность, хотя ты навеки незримо, потому что когда ты скрыто — тебя не видно, когда же сияешь в блеске, то сияешь так ослепительно, что на тебя нельзя смотреть. Ты разрешаешь лед в жидкость, и эгоизм в любовь, жидкость — в пары, и чувственную любовь — в духовность, — ты все возвращаешь в себя, в невещественное и духовное, о солнце непостижимого совершенства!

15

Мне видится путник на безлюдной дороге слегка в гору; справа и слева жнивье, солнце клонится к закату. Он идет ровно, неторопливо. Вот взошел до вершины и спускается вниз; там, в полугоре, деревня. Он дошел, свернул вправо и по узенькой тропке среди зеленой муравы подошел к первой-же избе, поднялся на две ступеньки, взялся за ручку двери, приотворил, нагнулся, перешагнул внутрь и запер за собою. Безлюдная деревня спит, пуста дорога. Моя мысль, большая черная птица, медленно махая крыльями, летит прочь, пересекает вверху дорогу, и вскоре исчезает из глаз. Она вылетела из меня, но она — не я. Так Ангел Божий в Библии—не Бог.

16

Пять лет назад случилось, заблудился я один в лесу на старых и заросших тропинках и наконец потерял самое направление пути. Я шел и сворачивал, на-угад сказав себе: тропинка бежит, значит ведет же куда-нибудь. Частый лес близко обступал кругом; в глубине его было паутинно и призрачно. Я шел, шел, и вдруг почувствовал, что мне тесно, нечем дышать; хоть-бы малый простор, хоть бы

просека! И вспомнил, что в санскрите невзгода и теснота выражаются одним и тем же словом, простор и благоденствие — тоже одним. Мне было очень тягостно, я брел через силу; грусть ложилась на душу, как туман. И постепенно паутинность и призрачность овладевали мною, точно вливались в меня и обволакивали душу, так что я незаметно впал в усыпление чувств и шел как во сне; только одна не уснувшая мысль еще билась в уме — как-бы выбраться. Я ничего не знаю в жизни страшнее этого усыпления. Оно притупляет муку тесноты, но безвозвратно убивает цвет и силу души. Оно — как тот губительный сухой туман, который народ называет мглою. Где повисла мгла, там трава никнет и умирает, колосья на поле в большинстве остаются пустыми, остальные быстро зреют, но зерно в них мелкое, тощее и сморщенное.

17

Мы с усмешкой вспоминаем Санхо-Пансу и прославляем идеализм и самоотверженность Дон-Кихота; так дикарь пренебрегал самородком золота, но тщательно хранил свой каменный топор. Дон-Кихот пока еще нужен, очень нужен; и он теперь прекрасен, потому что среди нас им трудно быть; поэтому мы вдвойне правы, прославляя его. А Санхо пока не нужен и им легко быть—за что его хвалить? Но, я думаю, будущий, более совершенный человек, отыскивая свой ранний прообраз в минувшем, остановится именно пред портретом Санхо-Пансы. Дон-Кихот не свободен в духе,—куда! Он — раб, раб своего идеала, пусть высокого; смотрите, как на нем меняются свет и тени! А беспечный Санхо-Панса — весь в солнце: ясно видит, светел духом, истинно-свободен; в земляной глыбе блестит самородное золото. А безпечность—цвет духа. Некогда человек перестанет быть рабом каких-бы то ни было владык, даже истины и идеала — теперь еще нужных и мудрых властителей; его труд и дело будут творческой игрою. Разве служение Дон-Кихота — игра? Он — чернорабочий, трудится с напряжением, изнуряется в труде. Так нужно теперь, несомненно; но в далеком перевоплощении Дон-Кихот родится Санхо-Пансой 2-м, очищенным Санхо-Пансой. И, я думаю, Сервантес знал это и потому-то поставил Санхо-Пансо рядом с Дон-Кихотом, как равных даже теперь. Не будь тут Санхо-Пансы, мы задыхались-бы в рабской трудовой жизни Дон-Кихота. Надо было открыть нам окно в даль свободного будущего: вот для чего здесь Санхо-Панса.

18

Умный и добрый смех, как смех Сервантеса,—оттуда, из нашей будущей родины. Как противоречивы эти слова: будущая родина,— и как верен их смысл! Человек рождается в будущее,—не странно-ли так сказать? Но подлинно: человек родился в прошлом—и непрестанно рождается в будущее, так что в конце времен у него будут два корня: один, телесный, в земле, другой, духовный,—в Солнце.

19

Да, любовь и подвиг, даже любовь Франциска и подвиг Дон-Кихота,—это тот свет, который «во тьме светит»»,—свеча в ночи; это свет не свободный, а обусловленный тьмою, реакция на тьму и оттого неизбежно—противодействие, борьба с нею, телесная или духовная, хоть в виде невольного и безмолвного укора. Свет проповедей Толстого, например,—жестокий свет и больно ранит сердце, томящееся во тьме. Это свет воинственный,—значит, все еще война. Тьма сама в себе—непрестанное взаимоубийство, но и свет нынешний—еще борьба; когда-же кончится теснота свалки? Последний закон термодинамики гласит: все виды энергии стремятся перейти в теплоту, а теплота—излучиться и в конце концов равномерно распределиться в мировом пространстве. Так: свет будущий льна курящегося не угасит и трости надломленной не переломит.

20

Ночь настала. Мне представляется: наш глаз не умеет непрерывно смотреть на свет,—он ежесекундно смежает ресницы и на миг погружается в тьму; так вечный свет мигает ежедневными ночами. Может быть, и смерть—только мигание жизни? Жизнь на миг погружается в темноту, чтобы освеженной опять загореться, чрез некоторое время опять мигнет индивидуальной смертью, и уже снова горит—так без конца. Меня давно поражает, как распространена и упорна была таинственная вера в перевоплощение душ; две трети человечества верили тысячелетие, треть верит и сейчас. Но все равно. Вот маятник ходит взад-вперед и стучит; мне кажется: это стук капель тающей вечности. Наутро снова взойдет солнце; перевоплощенный сном, я могу продолжать, если захочется.

21

Я родился и рос во тьме. По пятницам, в сумерки, мать в столовой, стоя пред столом, зажигала три свечи, складывала пред ними ладони пальцами к пальцам и шептала короткую молитву. Этих свечей нельзя было гасить,—они должны выгореть. Когда все расходились, я, лежа в постели, из темноты смотрел чрез отпертую дверь в столовую. Я не мог уснуть: мне было невыразимо тяжело. Вот одна свеча догорела; из глубины подсвечника протянулось длинное пламя,—погорит, и западет назад, потом опять вспыхнет, и опять запало—и гаснет; потом другое пламя так же борется с тьмою и уже третье поспевает за ним, равнодушное к его судьбе, оба каждое борются за себя, то вспыхивая, то померкая; по потолку и стенам движутся тени и в углах темно. Я лежал без движения, смотрел в ночной тишине, и глотал такую страстную, беспомощную тоску, словно вся скорбь мира наполняла меня. Так я лежал каждую пятницу вечером—гóды. Во все эти часы я неотвязно думал одно: «О, какая страшная, темная жизнь!»

Позже, лет в 15, я уже видел людей. Не знаю как, во мне родилась и надолго стала неотвязная мысль (я совсем не умел думать): что̀ дает этим людям силу жить?—Я знал жизнь каждого из них: заботы, внезапная тревога и горесть, и опять забота, одна и та же изо дня в день, хотя каждый день иная. Темная жизнь, и сами они темные; как они могут жить?—И жадно, с упоением читал поэтов. А когда днем, идя из гимназии, встречалась грязная нищая-старуха или случалось видеть, как ломовой извозчик закорузлыми руками швырял с телеги тяжелые поленья, громко и грубо ругаясь с кем-нибудь,—в такой вечер я ложился спать с переполненным сердцем: Господи! зачем они такие? и как они могут жить?—Я тогда уже твердо знал, хотя и не думая, что такими человеку нельзя быть и так жить нельзя. Этой тоскою мой дух, как червь из земли, пробуравливал безмерный слой тьмы вверх—на свободу, к солнцу.

22

Я был уже взрослым, когда впервые увидал картины Рембрандта. Он сразу околдовал меня; с тех пор я уже всюду искал его и не мог насытиться им. В искусстве ничто—даже Пушкин—не действовало на меня так сильно, и ни один человек из известных мне не был мне так близок. Я прочитал потом толстую французскую книгу—

его биографию; из нее я узнал, что̀ знает каждый читавший о нем,—что он с ранних лет любил изображать евреев и многие годы прожил в еврейском квартале. Мне кажется, что я прочитал в его картинах историю его жизни. Он родился во тьме, не только окруженный тьмою, но сам пропитанный ею, и рано начал по инстинкту сверлить себе путь чрез тьму—вверх, к солнцу; и сверлил всю жизнь,—только это и делал всю жизнь. И странно: он не мог оторваться от тьмы, силился все крепче схватить, как бы осязать ее, можно сказать—упивался ею; оттого он и рисовал беспрестанно еврейские лица: в евреях она всего сгущеннее. А сам весь был полон тьмы—и жадно алкал солнца. Временами ему, как видно, казалось, что он выбрался; его краски трубят ликование: какой ослепительный свет! какая даль видна! То были короткие годы с Саскией. Но и тогда тайно знал, что полон тьмы и что никогда не сможет изгнать ее. А после, когда счастье померкло, он наконец понял себя: «Буду сверлить ход к солнцу, потому что иначе я не могу,—ничто другое мне не нужно; но знаю, что мне не выбраться никогда». С тех пор он уже сознательно зарылся в еврейство, изучая в нем свою и исконную тьму человека, и работал, как каторжный, с невиданным упорством, почти с ожесточением, словно очарованный страшной красотою разверзавшихся пред ним глубин. Таких шахтеров больше не было и не будет. Он изучил тьму во всех направлениях так пристально и глубоко, как никто. Но в этом неустанном измерении преисподней—какая пожирающая тоска по солнцу! Что-то сродное ему есть в Достоевском.

23.

Самоанцы жили прекрасно и счастливо. Путешественники не могут надивиться благородству их лиц и совершенству тел, их спокойному достоинству, сдержанности в проявлении чувств, их прямодушию и чистосердечию, их мягкости, безкорыстию и открытому радушию,—и светлой легкости, светлой радости их жизни, их певучести, их легким танцам и божественной наготе, увитой цветами.—Так:

> Их жизнь, как океа́н глубокий,
> Вся в настоящем разлита.

Она разлита, как ясный пруд, отражающий вечно-голубое небо. Эта горизонтальная жизнь в смысле красоты—прекраснейшая, в смысле счастья—счастливейшая. Но она колышется в берегах, замы-

кающих ее навсегда. Нет, еще и это—не жизнь! Как полноводная река, ясно отражающая днем небо и солнце, а ночью звезды, и неустанно несущая свои воды морю,—вот какой должна быть жизнь. Может быть так жили Эсхил и Перикл, так жил в молодости Гёте. Позавидовать ли им? Они были всю жизнь здоровы, Рембрандт был всю жизнь наследственно-болен; и все-же, если бы в ту минуту, когда я возникал, определяющий судьбы предложил мне на выбор то или другое,—я, каков я теперь, был-бы очень затруднен.

24

Вспомнилось мне,—дам же памяти волю строить ее воздушную явь! Пир воспоминания—чудо из чудес. Встают и движутся пред внутренним взором бесплотные образы—люди, события, картины, некогда вещественные, как я и как все, что̀ вокруг меня. Куда девалась их вещественность? В моей памяти они—те же, как были; я вижу их платье, фигуры, лица. Что-же? значит, вещественность, ушедшая из них, была и тогда, при их жизни, только мнимой принадлежностью их существа?—она исчезла, и в них ничего не изменилось. Так может-быть вещественность мира и вправду—только мираж и наши чувства—обманщики, а невещественная вещественность образов памяти—подлинная истина, и воспоминание—единственное верное свидетельство нашего духа о мире?

Вспомнился мне человек из дальних лет. Я смотрю назад в прошлое, как водолаз смотрит чрез свои стеклянные глазницы на подводную жизнь. Темная, тусклая жизнь! Лишь изредка проникали в нее лучи солнца и бродили недолго. Тот человек был бедный еврей, Герш-Лейб по имени. Он кажется мне теперь в тех сумерках сгустком тьмы. Ему было на вид лет пятьдесят или больше. Малорослый, горбосутулый от забот, в потертом выцветшем кафтане и таком же картузе, с темным лицом, поросшим грязно-седой растительностью, с длинным носом, слезящимися глазами и воспаленными веками, с сухими губами, ко всему безучастный и вечно безмолвный—таков он был; твой-ли брат, о юный Гёте? твой-ли, Нансен, в час, когда ты отплывал на север?—Он был из глухого польского местечка. В первый же день по приезде в наш город, в Кишинев, он попал, в качестве бедного субботнего гостя, к моему деду. Он скоро нашел себе занятие; все годы, что̀ я знал его, он продавал в разнос свежие бублики и коврижки по копейке за пару. Он разносил по домам свой товар в продолговатой плоской корзине, висевший у него горизон-

лально впереди. Он продавал в утро до трех сотен; забирал по 40 к. и наживал на сотне гривенник, значит копеек тридцать в день. В 4 часа утра шел в пекарню за товаром и часам к 10 кончал обход своих клиентов. Были и другие заработки,—в молельне мясников, при свадьбах и погребениях, и в знакомых домах, куда его звали для всяких поручений. Так, осенью, когда моя мать на лесной площади покупала зимний запас дров, Герш-Лейб сопровождал возы с площади к нам во двор. Мать возмущало его корыстолюбие: накормят его на кухне, дадут говяжьего сала на суп и гривенник деньгами, а он потом жалуется жене деда, что дали только гривенник. Квартиры у него не было; он ночевал в темных, сырых сенях молельни мясников. Зимою, когда там топилась печь, он варил себе в ней суп, а в остальное время года давал жене деда несколько копеек и часов в 12 приходил есть свой суп, принося с собою много сухих корок, которые добывал вероятно в своей пекарне. Он не был жаден к деньгам: жадность—уже жизнь,—но до крайности бережлив. Он был неграмотен и механически исполнял обряды; улыбка никогда не проступала на его лице, и ничто не выводило его из мертвенного оцепенения.

Мой дед был тогда уже стар, за семьдесят, и слеп. Он поздно женился вторым браком на глупой, невежественной женщине, вдове, уже при нем выдавшей замуж своих дочерей в другие города. Дед с женою жили в двух маленьких низких комнатах в белом глинобитном домике со двора, в нижней части города. Дед жил на покое,—дети давали на жизнь. Праздность сильно томила его. Весь день он сидел у окна или на кровати, летом в парусиновом, зимой в теплом кафтане, в картузе, куря из длинной черешневой трубки или время от времени нюхая табак, перекладывал сухие ноги с одной на другую и Бог весть, думал ли о чем, или погружался душою в неподвижный мир мутных старческих видений. Он был вспыльчив и капризен. Встанет в гневе, высокий, слегка только сгорбленный, с длинной белой бородой, сверкает незрячими глазами, и гремит, гремит. Он часто ссорился с женою, все из-за еды. Он утверждал, что она утаивает часть денег для себя; она с клятвами отпиралась, и наконец, сама входя в гнев, доказывала, что надо-же ей сберечь что нибудь на случай, если она переживет его, потому что ее дети бедны, а от его детей ей ждать нечего: он не научил их уважать ее. У деда был один живой интерес: синагога,—ее внутренние дела, новости, сообщавшиеся в ней часто раньше газет, особенно же приезды странствующих толковников. В Судный день, когда евреи без еды и питья до вечерней звезды весь день проводят в синагоге, я навещал деда

в молельне мясников во время главного перерыва. Со двора две ступени вниз вели в темные сени; во дворе и в сенях сидели и стояли мужчины и женщины, вышедшие освежиться. Из сеней направо снова две ступени вниз вели в синагогу. Здесь воздух был дымен и тяжел; изнуренные люди сидели за партами в картузах, в грязно-белых с черными полосами молитвенных плащах, в одних чулках без обуви, с белыми от голода губами, и отдыхали от моления; а далеко впереди, на амвоне, от которого кантор отошел, чтобы дать отдых затекшим ногам, сквозь дымную завесу тускло мерцали свечи. Едва в силах дышать, я пробирался к деду; рядом с ним сидел бедный еврей, которого он нанимал на праздники, чтобы повторять за ним исковерканные, непонятные слова, читаемые по книге. «Это я, дедушка. Как ты себя чувствуешь?—и он торопливо отвечал: «Ничего, ничего».

Я был в те годы гимназистом и навещал деда обыкновенно через день, часов в 6. Тогда я неизменно заставал у него Герш-Лейба; он у окна пил из блюдца в прикуску чуть-окрашенный мутный чай, ставя стакан на подоконник. Дед беседовал со мною, не обращая на него никакого внимания; редко случалось, что Герш-Лейб немногословно рассказывал какую-нибудь городскую новость. Напившись чаю, он брал у деда понюшку табаку и сидел, сгорбившись, молча и безучастно, до тех пор, пока наставало время итти в синагогу; он ежедневно водил деда к предвечерней молитве, за что получал сколько-то.

Почему Герш-Лейб приехал в наш город и что он оставил там, в Польше, этого никто не мог объяснить. Я знал от деда, что у него там жена и взрослые дети. Изредка он просил меня написать адрес на конверте; отсюда я знал, что к Пасхе и Новому году он посылает домой рублей по десяти. Он никогда ничего не рассказывал о себе, но его образ жизни ясно показывал, что он для чего-то копит деньги. Но годы шли, он продолжал по утрам разносить бублики и пляцки, в 12 обедать, и в 6 пить чай у деда и почевать в сенях молельни мясников.

В одном из домов, где дед прожил долго, его соседями по двору была семья, состоявшая из отца, матери и дочери—девушки, носившей поэтическое имя Мирель. Отец был раньше арендатором; когда евреев изгнали из деревень, они, разоренные, переселились в город, и когда я узнал их, отец, Кисиль, был старьевщиком. Он иногда встречался мне на улице: чрез правое плечо перекинуто ветхое платье, в руках соломенная шляпа, медный таз или поношенные ботинки; так он бродил по улицам, заходя во дворы, бедно, но чисто одетый, грустный и ласковый человек. Я охотно беседовал с ним, когда

летом, в субботу к вечеру, заставал его с дедом сидящими на стульях во дворике пред порогом деда, мирно беседующими. Кисиль с семьею занимал во дворе низенькую хатку—только полутемные сени с большой печью и направо светлую комнату, всегда чисто прибранную. Та-же тихость отличала и мать, болезненную женщину, измученную городской теснотою и бедностью. Эти люди, должно быть, и между собою говорили так-же ласково, как с посторонними. Иду бывало к деду, и вижу мать, собирающую на мостовой щепкою в разбитую чашку конский навоз для смазки пола. Или в пятницу под вечер, проходя, загляну в темноту их входной двери, и вижу: Мирель, подоткнув юбки, размазывает ладонями по полу смесь глины с конским навозом; услышит шаги, выпрямится, вся пунцовая, и мгновенно юркнет направо во дверь; или стоит пред входом под акацией у лоханки, поставленной на скамью бортом о ствол дерева, стирает белоснежными тонкими руками, и, не глядя, ответит на привет. Но большей частью я видел ее за шитьем: она шила на сторону. Когда я узнал ее, ей было лет 18. Красоты более совершенной и более нежной я не встречал с тех пор. Она была среднего роста, тонка и стройна; ее чудное лицо, карие глаза и роскошные каштановые волосы, —и все движения, взгляд и голос были так обаятельны и кротки, что даже мой слепой дед был как-бы влюблен в нее. Потом дед переехал в другую улицу, но знакомство не оборвалось; только я с тех пор уже редко видал Мирель.

Я знал от деда, что вопрос ее судьбы сильно сокрушал ее родителей. Ей минуло уже 20 лет,—возраст для еврейской девушки критический,—и приданого за нею было только то, что она скопила шитьем. Я заставал жену деда в таинственном перешептывании с худой, остроносой свахой. Потом я узнал, что жених найден и Мирель просватана. Этого жениха, Мордку, приказчика из бакалейной лавки, я видел у деда. Его лицо выказывало упрямство и тупость. Было решено, что молодые будут первое время жить на хлебах у Кисиля, внося свою часть, Мордка оставит лавку и на приданые деньги займется скупкой и перепродажей чернослива и орехов. Перед свадьбой Кисиль с женою перебрались в сени, а большая комната была отдана молодым. Мордка сделался перекупщиком: до зари выходил на заставу и скупал у молдаван, везших в город свои продукты, несколько мешков чернослива или десяток лубяных коробов винограда. Позже осенью он съездил, по совету тестя, в уезд, в то место, где раньше жил последний,—и вернулся оттуда воспламененный: там можно было купить необыкновенно выгодно партию орехов,—он сторговался, и

приехал за деньгами: ему недостает 25 рублей, недели на две, пока он привезет, вымоет и продаст орехи. И дед устроил это дело; он с оживлением рассказывал мне, что при его посредничестве Герш-Лейб ссудил эти 25 рублей под расписку Кисиля и Мордки за два рубля на две недели, и что Мордка уже уехал с деньгами.

На той покупке Мордка действительно нажил, и тотчал расширил свою коммерцию. Договор с Герш-Лейбом он продлил, и первое время аккуратно выплачивал ему проценты. К зиме он открыл лавочку в верхней части города, переехал туда, посадил Мирель за прилавок, а сам стал промышлять на базаре. Но лавочка не оправдала его надежд, он перестал платить Герш-Лейбу и на требования отвечал, что денег нет, а отдаст, когда будут. Герш-Лейб ходил более понурый, чем когда-либо, часы, молча, в сокрушении, просиживал у деда и, кажется, еще больше сгорбился. Сам Кисиль осуждал поведение Мордки. Дед горячо принял к сердцу горе Герш-Лейба и решил вмешаться. Было условлено, что когда Мордка придет к тестю,— он теперь редко приходил,—Кисиль пришлет за дедом. Я как-раз сидел у деда,—дело было в субботу под вечер,—когда стремглав вбежал мальчуган и выкрикнул: «Реб Кисиль велел сказать вам, чтобы вы пришли». Дед, бледный, заторопился, оделся тепло, и я повел его. Там за круглым столом сидели Кисиль, его жена, Мордка и какой-то старый еврей, верно гость. Дед молчал всю дорогу, но его рука дрожала в моей руке. Произнеся приветствие, он выпустил мою руку и, стоя, спросил: «Где Мордка?»—на что Мордка преувеличенно-громко и, мне показалось, насмешливо ответствовал: «Добрая суббота вам, реб Шмиль». Кисиль, встав с места, взял руку деда и положил ее на спинку свободного стула; дед сел, и глядя слепыми глазами в ту сторону, где сидел Мордка, гневно спросил—как он смеет, молокосос, грабить бедного старика? Мордка отвечал с наглым спокойствием: когда будут деньги, отдаст; разве без этих денег Герш-Лейб не может достроить дома, или ему надо платить по векселю? Дед разразился гневом, как вдруг в комнату незаметно вошел Герш-Лейб; придя к деду и узнав о том, что происходит, он поспешил сюда. Услыхав его привет, дед умолк, и все молчали. Старик был видимо сильно возбужден. Он сел на стул у окна и заговорил; я в первый раз слышал из его уст такую длинную и связную речь. Предо мною в памяти так ярко стоит его порозовевшее и напряженное лицо, что, кажется, я слышу его слова. «Спрашиваю вас, евреи,—где справедливость? Я три года живу на чужбине, вдали от жены и детей, без угла, как собака. У меня ломят ноги, я едва

сижу, а я каждый день хожу десять верст, чтобы заработать тридцать копеек. У меня ограбить двадцать пять рублей? Что скажет Бог? У меня дома дочь-вдова с тремя маленькими детьми и дочь-девушка, которую надо выдать замуж. Мы погорели, у нас сгорела корова, а мы всю неделю кроме субботы жили молочной пищей. Тогда я пустился на чужую сторону; думал, Бог мне поможет, выдам дочь замуж и куплю корову. Кому хочется умереть на чужбине? Вдруг приходит человек, которому я не сделал зла, и берет себе мои 25 рублей. Разве я прошу твоего? Отдай мне мои деньги, и я ничего не буду иметь против тебя».—Сгусток тьмы ярко вспыхнул, и осветил себя. Я глубоко страдал за него.

В тот вечер Мордка обязался выплачивать долг по частям, и действительно выплатил его еженедельными взносами. Недолго спустя дед рассказал мне, что Герш-Лейб получил из дому письмо с известием о смерти своей жены. Перед Пасхой он уехал домой и месяца через два вернулся, выдав замуж дочь и купив старшей корову. У нас он зажил по-прежнему. Я заметил в нем только две перемены: у него явился новый кафтан, сшитый, конечно, к свадьбе дочери, и он надевал его по субботам; и еще, он стал выпивать перед обедом небольшую рюмку водки, для чего держал в шкапчике у деда сороковку. По-прежнему разносил по утрам бублики и пляцки, обедал у деда, водил его в молельню, ночевал в сенях молельни и исполнял поручения за несколько копеек, все такой-же маленький, горбатый и сухой, еще года три, до своей болезни. У нас он и умер на койке еврейской больницы.

Я скоро забыл его и вспомнил лишь долго спустя, зато навсегда. Он был такой темный и холодный,—почему же воспоминание о нем неразлучно со мной, точно он был мне милым братом? За все годы в нашем городе он не сблизился ни с одним человеком. Он ходил по тротуарам, где играли дети,—и проходил угрюмо, не видя их; входил во дворы,—а у многих дверей стройные олеандры в зеленых кадках цвели ярко-розовыми цветами,—он их не видел и не обонял их миндального запаха. Он знал солнце только по палящему зною и быстрые южные ливни—только по струям воды, лившимся сверху, и бурным потокам на улицах. В моей личной жизни нет ничего, память о чем была бы мне так тепла, как память о нем и двух-трех подобных ему. За ними теснятся тьмы незнаемых мною таких-же, как они, прежде живших и теперь живых. Я сам родился во тьме, — могу ли забыть моих братьев, навеки рабов?

М. Гершензон.

ТАК ГОВОРИТ ПРАВДА

I. О ПРАВДЕ

1

Чем отличается правда от истины?
Истина—полагает, а правда—относится.

2

Истина — положение; правда есть жест; и — без всякого положения в мире: глашатаи истины так положительны, что занимаясь своим положением в мире, хозяйством своим, не дают места правде, младенцу, которому время родиться; правдивцы—бездомные пастухи. За звездою проходят безмолвием.

3

Истина — отлагает, слагает: с чего? С правды. Так сложенное перестает быть правдивым. Воистину: истина—по-лагает, а правда—по-носится.

4

Истина только — -лагает: «лагать» — лгать? Лежание, лог, ложе, ложь—положенья статических истин; несущееся в движенье—правдиво; упавшее—лживо; истина—лежачая правда, упавшая правда, безногая правда; она — паралитик; себя сознавая до ложа, до лжи, она вдруг искупляется мимо идущею правдою; правда гласить ей: «За мною иди».

Истина в правде есть путь жизни в «Я»; она, понятая до дна, перестает полагать; она действует взглядом без слов; правда — взгляд; истина—глазное яблоко взгляда.

5

Псалмы указуют различие между правдой и истиной; сказано: «Небеса возвещают правду»; и об истине сказано, что она «от земли воссия»; расстоянiе правды от истины — расстояние, по меньшей мере равное расстоянию от земли до ближайшей звезды. Так: земля—пунктик неба; и истина—пункт дома правды; мораль— тень границы меж ними; граница же—честность; по одну сторону— аморальная правда; и по другую—имморальная истина.

6

Правда бросает повсюду свои многоякие тени; она в философии—норма форм, суждение утверждения, категория данности, первое гносеологическое суждение, символизуемое актом творения мира: «Да будет, дано, да!» Сама же она — прежде данного: в до-данном, в «пра»-данном. Правда есть какое то «пра» в «да»: «пра»+«да»= пра-в-да.

Правда—символ, а аллегория—истина.

7

«Пра» же есть мир мифологий, божественный; «да» —мир положенный, стоящий пред носом моим, точно дым пистолетного выстрела, от которого вдруг я чихнул; «на всякое чихание не наздраствуешься»—логика идеалистов; и они превращают свой «чох» в символ вечного: в «пра»: «Все преходящее — только подобие»; «метафизический мир лишь подобие «чоха»—так говорят реалисты; символизируют те и другие; одни— «пра», другие—«да»; «пра» и «да» части огромного со-пра-да-ния, сопрядания. Правда есть воплощение.

8

Что воплощено? Мир данный? Нет он—положен в «во вне», в «вокруг», в «больше». Мир должный? Нет: он—во мне,

«внутри», в «меньшем меньшего»; оба міра — не правды; один преувеличивает себя в безмерность; другой—преуменьшает себя в менее, чем ничто. И это менее чем ничто — время пространства. Воплощенье не знает того и другого: оно — «как раз», в «пору», «ни больше, ни меньше».

9

Что—«в пору»? Что есть форма и содержание? В чем большее равно меньшему? В чем «пра» сочетается с «да»? Где производитель—произведение производителя?

В Само, в «Я»: в само-со-знании. Здесь «даю» пересекается с «дано».

Самосознание — вздрог правды в нас, от которого рушатся кубики истин во граде познания; вздрог—и мессинское землетрясение «истин»: проходит дух правды; знаете ль вы в себе, о, ответственные полагатели истин, тот вздрог, когда вы пред самими собою стоите лгунами? Не знаете? Знайте же: передо мной вы такими стояли не раз. Я вас видел в ... «ответственности», когда истины отпадали от вас, будто клочья прогнившего, мертвого мяса.

10

Лучи правды — все стороны пересекающий свет, относимый со скоростью абсолютною: абсолютно относится он на такое то количество километров в секунду (ни больше, ни меньше); и это количество—абсолютная скорость.

Так правда относится, преодолевая все истины лжей и все лжи истины; ее относительность—безотносительна.

Господин кантианец, прошу вас a priori мне дедуцировать это количество: прошу вас a priori дедуцировать правду: тогда вы ответственны; иначе вы—«ответственный» лгун.

11

Правда—правда: ни «так сказать», ни «терминологически говоря», ни «образно говоря»; правда—правда: без уподоблений. Ответственные, с которыми пора размежеваться и мне, осознали ли вы «ответственность» правды за частоколом из «так сказать» истин.

Отойдите же от меня, окаянные: анафема вам, маранафа!

12

Неужто же не узнали вы духа правды, который служитель есть верный, носящий не «так сказать» имя, а имя—«Аминь».

Так говорит Аминь, служитель верный: так говорит правда.

II. ПРАВЕДНОСТЬ, СВЯТОСТЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

1

Праведность — правовое определение правды; или — действие правды над временем; праведник стоит пред другими; праведник — праведник в обществе; праведник — правдивый для других; правдивец—для себя.

2

Мое «да» — действие утвержденья чего бы то ни было: положения, правила, вещи; а «пра» есть «Я» в «я» обычном; и чрез него — в сфере времени: мы обычно во времени скованы временем; между тем: времена истекли из начал; «я»—начало для времени.

Праведный (пра-ведущий) есть тот, кто правильно ведет время; и в этом смысле им правит; он тот, чье Само, овладевши сознанием, овладело сознанием времени.

3

Праведник есть—со-временник: он «со» всех сознаний текущего времени (от сих пор до сих пор); он—культура; поэтому праведник—прав; он есть право, которого корень в бесправии правды; а «право»—тень тени: тень праведной стороны правды.

4

Правовые «истины» человечества—тень тени тени...

5

Праведность есть отношенье правдивого к тому, что лежит вкруг него; это — круг его веденья; в этом круге он — праведен; в

другом — нет; но везде — он правдив; праведность—первое положение правды; она уже лжет, но ложь праведности есть все еще сама правда по отношению к кодексу положительных, ответственных истин.

6

Действие правды чрез праведность — действие оправдания; праведник тот, кто оправдывает время.

7

Праведник для всего, что себя пронизало хоть сколько-нибудь духом правды, есть праведник; для всего, что лишь смутно в него вперено, — эстетическое представление он; в таковом эстетическом свете он даже не праведник, а явление теплого, прекрасного света: святой.

8

Святой есть непонятый праведник; праведник—не всегда есть святой; одеяние теплого света — одно одеянье его; одеянье холодное ясности есть одеянье другое; и в нем—просветитель он.

Но может пройти без одежд: не быть просветителем и не казаться святым; Ницше был такой праведник.

9

Одеяния света и святости, взятые через призму положенных, «положительных истин», являют иллюзию просвещения в смысле ученья и знаний: ученье есть свет; неученье есть тьма.

Но — разве правда и праведность одеянья дневныя и светлые? «Die Nacht ist tief und tiefer als der Tag gedacht» Так и правда. Она — темный диск оперения: теплового (иль праведного), светотеплого (или святого), холодного света (иль знания). В темном диске оправданы светочи: права святости, света и знания. Вне его—оперения: ложь Люцифера!

10

Да, правда — ядро; периферия правды — гранится грань, оно «психологии» — цельность процессов, переживание (ни воля, ни чувство, ни ум); правда в действии — праведность (в психологических шорах — мир воли, в эстетике—полное уменье приема, в познании—правило положения метода); правда в чувственных (эстетических) созерцаниях— святость, периферия пучины самосознанья, мир чувств; в святости праведник отражается представлением в нас; святость— место утопленной правды, иль озеро Светлояр, утанвшее Китеж; в эстетике святость есть вчувствие, или — со-чувствие (восприятие приема, переживание стиля); отраженье в познании святости — «истина» мировоззренья; отражение «и с т и н ы» в познавательном атомизме наук — просвещенье наук, или «и с т и н ы» знания; в психологии — здесь область ума; в эстетике — сфера сюжета; в морали выносится тут познавательный фрак скрытой правды: практический разум с его отношением к теоретическим формам познания, через посредство которых откладывает он «з а к о н ы» свои; здесь начало осадочных мощных пород нашей лжи; здесь—градация знаний.

11

Познание знания в своей просветительной зоне есть город, где каждая улица названа «н е п р а в д и в о», а «и с т и н н о» (термином); и где каждое здание улицы ясно сияет прочищенным номером; здесь воистину: истина «о т з е м л и в о с с и я». Далеко от нее потемневшая «п р а в д а к н е б е с е п р и н и з е» (псалмопевец).

12

Так говорит правда.

III. О ЛЖИ.

1

Правда дана в «п о л о ж е н и я х» лжи; ложь — не то, чего нет; она— есть; она — то, что легло, улеглось, успокоилось, не несется; и не — относится; ложь «истины»—догмат; правда «истины»—символ; законы природы суть познавательные аллегории.

2

Стадии нисхождения правды в неправду: праведность-святость-свет, воля-чувство-ум, совесть-фантазия-императив, прием-стиль-фабула, норма-форма-закон.

3

Правда брошена в мир нашей лжи; она — в лжи; наше бегство от лжи есть утопия; мало нам избежать мира лжи; это — ложь самой лжи; надо нам оправдать правду лжи; «положения» лжи переделать в восставание правды; правда вечно дается нам ложью: переживанием «я», долгом, образом и законом науки; духом совести носится над четырьмя горизонтами лжи; и—творит на них смыслы и ценности.

4

Самосознание есть процесс выявления правды из лжи, воскрешение трупов «мессинской катастрофы»; и восставшая, в правде лежавшая, ложь есть действительность, «Со», «пра» в «да» правды; самосознание есть единственное социальное дело.

5

Отказы от лжей (от культуры, от знанья, морали, общественности) — перепрыг в сферу правды: прыжок лжи и оседлание правды под формой «ответственности» (нежелания лгать). Правдивые положения ригористов и вас, о, ответственники, есть правда оседланная: правда в тюрьме; ригористы, оставьте меня в мире лживых творить ложью правду; «оседланной правдою» попадаете вы — в центр лживой сферы; и здесь—смерть вторая.

6

Оправдание лжи убивает ее в лживом пункте: в лежании, в логовище, в пристанище, в порядочном комфортабельном доме, во всевозможном «я должен, ты должен, он должен» и в хлопотливой ответственности: то, что лежит в лжи есть «истина»; отметание лжи — утрата частей цельной правды.

В выпрямлении мысли и чувства, и воли: начало познания правды; «Исправьте пути» есть начало Евангелия.

7

Будь правдив!

Это значит: «Не говори правды». Правда в слове—всегда положение правды во гроб добра, истины, красоты. Тебе говорили: «О, говори правду!» А я говорю: «Не говори правды никогда, но... оправдывай: строй мир правды в самосознании!»

8

Правда темна, не светла, молчалива; и знак ее — взгляд без слова, противоречащий знакам и объяснению знаков.

9

Соделайте правду не действием разрушения лжи, но действием созревания лжи, созревания лжи вплоть до «совести» лжи, где она вспоминает, как некогда и она не лежала, летала, носилась (носилася—правдою) и потом потеряла способность носиться, легла; надо лжи показать, что она в устремленьи к себе еще вовсе не ложь, что ей, лжи, не мешало бы окончательно воплотиться. Но действие воплощения лжи есть начало всеобщего оправданья: восстания в правду.

10

Лжец восклицающий — «да, я есть лжец—таковым и останусь» — есть совестливый: и у лжи совесть есть.

11

Оправдание мира в уменьи выращивать зрелыми плоды жизни; созревшее — правда, — а перезревшее, или еще не дозревшее — ложь; каждому плоду — свое время; уменье выращивать что-либо коренится в уменьи выращивать вообще; но уменье выращивать открывается в доступном единственно росте; тот рост — самосознание наше; владеющий самосознанием владеет и даром: выращивать зрелым себя, других, вещи (и у вещей есть их «я»), владеет он даром: творить правду мира в материи лжи; он знает, чему время стукнуло, что

еще не дозрело и что перезрело; и знает, что слово еще не дало зрелого плода: еще Слово в словах не созрело; и он не разводит словесности правде; он правдой молчит, не говоря прямых истин; но действует он словами, слагая еще не правдивые смыслы их в жест: без единого слова; правдивый не тот, кто вещает нам правду, а тот, кто вещает неправды, но так, что неправды, сплетаясь, себя убивая друг другом, являют молчание; и слова начинают кивать нам без слов; начинается тут разговор при помощи слов молчаливого Слова: то — правда.

12

В наивных правдивцах, в восстановителях истины, в грудогорбых верблюдах «ответственности» — нет ответственности: перед правдою; долгоносцы — всегда должники, неоплатные, перед правдой. Избави нас Бог от наивных правдивцев.

Так говорит правда.

IV. О ПРАВДИВЦАХ, СВЯТЫХ, ПРОСВЕТИТЕЛЯХ И ПРОЧИХ «ВЕЛИКИХ».

1

Носить правду в себе еще вовсе не значит жить в правде — а значит обратно: жить в не правде; жить в окружении правды, тебя проницающей, это значит: оправданным быть; носить правду — иное: то значит — носить отложенья ея; правда нас продувает, в нас зыблет; и то, что движением правды в нас зыблется, мы называем опять таки правдою; зыблется в нас наша ложь; этот зуд называем укорами совести мы.

2

Совесть из рта проростает словесною истиной; тут — мы в неправде.

3

Носить правду в себе — значит быть не оправданным и не знать оправданий себе; правдоноситель несет свою правду, как нечто, ему

не присущее и не по нраву присвоенное; не становится он оправданием правды; он правду сбывает другим, оставаясь без правды; и — таковы просветители.

4

Правдоносители — суть неправедные; вся их правда «внутри» лишь тоска по вселенной, которую где-то утратили; жест (сбыть тоску, испытавши иллюзию оправдания, сбыть другим свою правду) есть жест безответственный; правдоносители — безответственны всей «ответственностью» своею.

5

Правдоноситель мятется: «Он — должен и должен, и должен»; правдивый же знает: то будет, что быть должно; это «что» ощущает не формулой он и не истиной вовсе, а ритмом, диктующим в понедельник походку одну, а во вторник другую: и «долг» открывается — раз, много два; откровения долга — мистерия, в которую посвящается жизнью правдивец, перед которой — немой он (müsteria «от müein»); это не долг, а — «Аминь»; это — имя: а в прочее время правдивец на все предписания долга и на долбню долгоносцев ответствует всей «неответственной жизнью своею: «не знаю: я поступаю... так как то...» А поступает он — легче, ритмичнее; правдоискатель — рванется, споткнется; и запыхавшись сидит на одном положении долга: на бременном камне; и бухает камнем для убиения комара на лбу жизни; так жизнь им убита.

6

Походка правдивого — легкая: от безответственности; эта походка — летучего «долга», который известен ему без категорических псевдонимов: известен, как... правда.

7

Долженствователь (должник нео́платный), святой (учиняющий представления света, хороший актер), даже праведник (кучер рыдвана «сегодня») — великие люди; их можно измерить аршинами; просто правдивый — неизмеряем: он — менее математической точки.

Так говорит правда.

V. О МАЛЕНЬКОМ ЧЕЛОВЕКЕ И ЧЕЛОВЕКЕ ВЕЛИКОМ.

1

Неизмеряемо малое в человеке не меньше великого. В неизмеряемо малом сокрыты радиоактивные силы, способные вызвать и взрывы, и дым; да, «великие» люди — клуб дыма; а небольшой человек обладает внутри жизни «я» всей энергией взрыва; его преимущество перед «великим»: взрыв будет; он — с «будущим»; в жизни «великих» — разрыв жизни «я«; сам «великий» — бум-бум своей собственной жизни; «бум» — позади; так «великий» есть бывший, есть прошлый; его настоящее — повисать клубом дыма, смущая других; предстоящая участь великого—дымом рассеяться.

2

Праведник, просветитель, должник и глашатай—все типы «великих» людей; в невеликом есть «главное» в потенциальном, еще не растраченном виде: «дух правды»; а у великого этого духа порою уж нет; он разменен на «истины»; маленький человек еще ставит себе оправданье себе; еще он не оправдан; ему предстоит оправдание; а великий оправдан уже бо́льшей частью при помощи лжи; правду он огласил мощной ложью; и для него прозвучало суровое: «Оглашенные, изыдите». Не верен он правде.

3

Да, маленький—ближе к «пра», чем к Началу; великий весь в «да»: «Я—даю, полагаю, лагаю, лгу!» Лог он огромный, размытый и вычерпанный; величина его отрицательна: он, как овраг, есть форма отрицательного рельефа.

4

«Великий»—эпизод на пути к человеку: то—фарс с Санчо-Пансо, проснувшимся губернатором и подброшенным... на тюфяках; он, подброшенный тюфяком обстоятельств, не видит висения в воздухе головою вниз—себя самого; ему кажется, что стоит он, ногой опираясь о тверди; над головою—земля в виде лунного диска.

5

«Великий»—даже не сверхчеловек, а подброшенный неудачно; оттого он снедаем заботою: поддержать себя в воздухе; тяготение к «низости»—просто следствие «высокого» положения в мире: закон тяготения тяготеет над ним.

6

Он снедаем «великим порывом»; «порывы» суть ложное восприятие правды, как внешне лежащей; то—кожное, нервное восприятие правды; раздутие кожи на теле; порывы—нарывы; призывы—прорывы нарывов; великие люди чреваты призывами к лжи, иль стремленьем сеять правду, которую носят они в своем внутреннем мире; болезнь, экзальтация, есть вдохновение в них; его следствие—выдыхание: дух испускают великие люди; и сами бездушно коснеют потом; даже больше: на собственном духе приподымают высоко свое положение в мире до... гонорара включительно; так выпускаемый дух осаждает великому и великую собственность: в виде каменной виллы в прекрасном ландшафте.

7

Под каменной этой бронею великие люди страдают: испытывают «угрызения совести».

8

В чем угрызения? В себявидении субъектом, одетым по-клоунски, этот субъект циркулирует всюду с плакатом, с рекламою, а на рекламе стоит: «Мои карточки продаются повсюду за столько и столько-то». Глупое положение рекламонош искони обсуждалось прохожими городских крупных центров; обсуждения эти и «охи» великий имеет способность подслушать повсюду; он вздох сожаления слышит и там, где тот вздох объясняет себя восхищением; но «великого» не проведешь этим вздохом: он знает, что—мал. Самовлюбленность его есть наркоз; отрезвления после наркоза ужасны; их Гоголь не вынес; их вынес Толстой, проходивший стезю от «великого человека» к правдивому человеку.

9

Великие люди велики количеством «положений»; умея выделывать правду, они открывают торговлю «изделием правды»; они положивши одно, полагают другое; их весть о себе—положение: по-весть; они о себе повествуют; их «совесть» становится «повестью»; так попадают в историю, которая—павшая совесть.

10

Великому нужно все выложить, положить, повестить; он снедаем болезнью: положить пред собою изделие, «истину»: он—всегда полагает и прилагается все остальное к нему; окруженье великих и толпы, за ними идущие,—только бордюр, или рамка к картине положенного; к положению «истины» прилагается все человечество обнимающей рамкой; воистину: моралист, социолог берут человечество рамкой; вся жизнь человечества только пустая дыра: затыкают ее моралист, социолог какой нибудь утопией; теперь человечеству смысл подарен; посредине картины стоит бюст великого; Юлий Цезарь и Маркс одинаково продолжаются в памяти: бюстами; человечеству дáрит великий свой собственный бюст под вуалью «общественных благ».

11

Полагать для всего человечества это значит всегда: полагать бессердечно; бессердечие здесь не знает предела: все человечество—мертвая рамка для «истины», почитаемой благом великим; человечество все подавай ему рамкою. Желающие принести человечеству благо суть те, кто желают отнять: у всего человечества—благо!

12

Этот жадный инстинкт, «вампиризм» под личиною благ,—показатель всегда: угрызения совести у дающих достигли предела; они—не оправданы; адский огонь и смертельная ненависть к жизни печет их; такие чудовища обыкновенно приходят к тому, что дарят человечеству злобу под формою «истины» для — всех, всех, всех! Окаянные!

Так говорит правда.

VI. «ВЕЛИКИЕ ПРИНЦИПЫ»

1

Отвращает меня всякий привкус партийности, действующей сознательно на «благо других»; здесь маленький действует под прикрытьем великого «лозунга», т. е. под гипсовым бюстом какого нибудь из «великих», тут «маленький», размноженный несчетно, бьет жизнь томагавком, имеющим изображенье великого; он выращиватель всего мертвого, он свои экскременты сует под нос всякому.

2

«Великое»—принципиально, зло, лживо, жестоко и подло; все великое—нажимает своей носорожьей стопою; великие люди, великие принципы—ходят на толстых слоновьих стопах омозоленной жизни своей; да, великая поступь людей и событий—болезнь: элефантиазис культуры.

3

Да, я—обыватель: я не желаю пресечь обывателя в своем духе, когда обывательщина мобилизована в рамки «великому»; в дни, когда сам обыватель «велик» и летит впереди всей истории по закону падения, тяготеет и развивает стремительный лет, тяготения к косному, где ж мне место, как не в пустом ряду «обывателей»?

4

Пора бросить вздор, обессмысливающий смыслы слов: что таит в себе ныне позорное слово «обыватель?» Тот кто «бывает?» Бывая, пребудет всегда? Маленький человек, т. е. человек просто? Да, он—не прейдет: и я лучше пребуду правдиво с ним вместе; лопнуть лягушкою, дующейся до вола,—не хочу.

5

Из двух зол быть маленькою живою лягушкою, или дохлой лягушкой, разорванной ложным порывом к великому, предпочитаю остаться: лягушкой живою; и—становлюсь обывателем.

6

Религиозно-общественная проблема когда то и меня занимала; однажды, читая статью «гениального» религиозного деятеля, я споткнулся на сочетании слов «богосыновство во властеносительстве»; тут повеял «душок» на меня; семинарский душок; книгу я отложил; и вопросом церковной общественности не занимался уж более. Понял отчетливо: он—дух пьяного, кабацкого перегара из уст семинариста; семинарист в кабачке породил тот вопрос; в семинаристе могу почитать я правдивого человека; ну так будем же с ним говорить человеческим языком. Я имею претензию на беспринципность хорошего тона: правдивого тона. А «богосыновство во властеносительстве»—нет, не могу!

7

Социальный вопрос занимал меня многое множество раз: деловито, отчетливо, сухо вставали колонками цифры и цифры статистики; цифрами уличались банкиры, дельцы. Маркс есть автор теории экономических кризисов. Так поучительно, так деловито, что мне становилось порою и жутко; в ученых борцах с капиталом и с прочим «делячеством» начинало сквозить столь гигантское погружение в душу дельца, что не верилось мне, чтобы можно с «дельцами» бороться не их же оружием; психологией банкира, дельца, искони отгоняли и марксисты (я сам одно время чуть не попал «во марксисты»); они деловитее прочих; но «банком» мне веет от их борьбы с банками.

Так я покончил знакомство мое с литературою по социальным вопросам.

8

Понял я, что под маской общественности оправдают себя и «дельцы»; так: с «дельцами» борясь, ты дойдешь до «дельца»; и дух правды меня заставляет сказать про свое отношение к социальной проблеме:—«Да, знаете, как то так... Хотите чаю?» Что же, неужто и нет обывателя вовсе? Вот он: я, обыватель!

9

Вопросы науки интересовали меня; здесь дух правды прямее Что есть «истина»? Наука отвергла вопрос; «истины» физики не выживают десятилетия: верховные принципы физики скачут, играя друг с другом в игру: в чехарду (Декарт-Ньютон, Эфир-Сила); Наука — стремленье без «истины»: множеством «истин» она разряжается, оплотневая техническим приложением... к пушке (уже «чемодан» превзойден); залетала наука по воздуху; воздуха же — нет: «дышать нечем от лжи. Наука прямей социологии в том, что она — насквозь ложь: но ложь с «собственной совестью. Социология совести не имеет.

10

Искусство — не убеждает; в искусстве живу я в сознании тысяч; мой образ, слагаемый душами, в коих живу, — «великан», а не я; это — мощный плакат: «Андрей Белый». Под ним — я, Бугаев, служащий в библиотеке Наркоминдела. я Бугаев, — человек маленький. Я стыжусь показаться под «Белым». — «Кто вы? Сердито останавливает меня мой читатель, бредущего себя слушать (на лекцию)... «Я. извините, — Бугаев!» — Не слышал о таком!»

11

Ну и что ж? Кроме автора есть «дух творений; обетованья, порывы и прочее; ждут: от «порыва» прекрасное что-то начнется: «Ну вот и прекрасно: спешимте, бежимте на зов!» Поспешили, пришли, сидим, ждем: не начинается! Перечитываем «произведение», нас зовущее: не начинается! Ожидание рождает порою бесцельные жесты: «Скажите, кто автор зова?» Является господин с бородавкой, любитель вина и даже женщин; и мы изучаем его биографию: он такого-то года в такие-то числа — икал: новый штрих. О, подброшенный Санчо-Пансо: подброшенный нами же!

12

Так «великие принципы» мира науки, искусства, общественности — представленье мое: дым разрыва какого-то малого зер-

нышка: правды во мне; это зернышко не измеряемо килограммами, неизмеряемо пудо-футами; «величие» — отвлеченная правда от... правды, которая в малом.

Так говорит правда.

VII. СОВЕСТЬ

1

Совесть для нас — это голос, то мучающий, то награждающий. Не понимаем мы совести; ей, воистину, дела нет, до того, что мы делаем в ней; ни тепло мне, ни холодно от мук совести «великого» Пыпина; холодновато пожалуй; свои «угрызения» выливает порой на меня он: моральной максимою. Награжденный—палит меня жаром; жиреет он жиром довольства; и тоже страдает: одышкою.

2

Совесть, пока она в муках иль в жирных довольствах собою,— не совесть, — а «весть», иль «известие»: для других. Со-весть — слиянье вестей друг о друге в самосознании братского организма; она—сочетание познавательных удивлений перед действительностью вместе, видящих душ; и она — сочетанье со-чувствий, которым есть имя: Любовь; и она — сочетанье деяний, со-действий, которым одно есть название: Жертва. Удивление здесь переходит в любовь; любовь— в жертву. Да, со-весть — совестие всех известий; иль — встреча известий.

3

Назову ее именем лишь одной стороны ее: удивленье любви переходящей в со-действие жертвы, есть «жалость». Слово то для меня есть слияние, символ: Любви, Света, Истины; в «жалости»— корень конкретной, доступной нам правды; она и есть—Совесть.

4

Несказа́нной, огромной, великой любви недостаточно; недостаточно любви к человечеству, к нации, к классу; все то—перепрыги;

начало любви к человечеству в любви-жалости к имя рек, к одному, к единственному, к обывателю, к малому. Без этого начала любви все—сон пустой.

5

Недаром народ называет одним общим словом: со-страдание, и любовь: «*я жалею*»—вот главное. «*Я люблю* несказанно» без жалости—сон: сон пустой!

6

Жалею есть: одновременно и плачу, и смеюсь от... любви.

7

Оправдываю тебя, ближний мой, малый, как я,—в твоем малом которое больше «великого»; и обнимаю тебя целиком: ты—страдаешь примем «*вести*» друг друга—друг в друге; и «*со-весть*» меж нами возникнет; если жалость друг к другу в нас есть, нам нет дела до пустяков в роде «*муки терзаемой совести*»; угрызаются пусть великие, жестокие, благодетели, дарители принципов; пусть они угрызаются муками совести... в бессовестности своей!

8

«*Мука совести*»—отклик сознанья на «*весть*», не проникающую меня, не слиянную с вестью моею; тут я слышу лишь звон, но не знаю, откуда он. Муки совести—«*вести*» души, которую надо бы принять в свое сердце: *жалеть*; муки совести суть и «*из-вестно-сть*» моя, и «*без-вестность*» моя; и ни в «*из-вести*», и ни в «*без-вести*» нет еще «со-вести». В со-вести «*пра*» правды начинает действовать в «*да*». Самосознание приводит нас к совести.

9

А «*известность*» ужасна без «*со-известности*»; я в «*известности*» исхожу лишь «*вестями*» о собственном, внутреннем мире моем, оставаясь без мира в себе (он исходит), без мира вовне. Кто не со-вестен, тот «*известен*», или «*безвестен*»: бес-со-вестен. «*Известности*»—настоящие радиотелеграммы: «Всем, всем!» Безсовестники!

10

«*Маленький человек*» есть до-вестный; он может стать и *известным*, и *совестным*; и великим, и просто «*хорошим*»; последнее—лучше; он, малый,—дитя: для детей—Царство Божие. Он—дитя правды; в ком умер ребенок, тому не быть в правде; «*великому*» трудно быть в «*малом*», но все таки можно, когда он *жалеет*, когда он—хороший (не только великий, не только известный).

Так хочется в наше «*великое*» время согреть в себе малые, все бы сказали, что «*пошлые*» правды; но если забудем мы «*пошлые*» правды, величие времени обернется в великий позор; и уж частью оно обернулось позором, когда мы не стали: «*жалеть*». Просто хочется людям сказать: «Не убийте, не обагряйте руки в крови, не воруйте, не лгите: жалейте, жалейте, жалейте!..» А вы не жалеете: и оттого то великую правду событий, сошедших на нас, превратили во что?

11

Придем же друг к другу, труждающиеся и обремененные; и—успокоим друг друга во имя «Я»... правды, которая в каждом жива, пока в гроб не успели ее уложить все «*великие принципы нашего времени*» (социальные, религиозные или моральные); ах, поживем без «*вопросов*»; послушаем: быть может, тогда мы расслышим и правду; найдем же пути от *великого к малому*: только здесь мир «великого»—мир (не война); но пока в нас не будет *жалеющей совести*, правды не будет; останется мир неоправданным; не оправдаешься «ты»; не оправдаюсь и «Я».

Оставим «*великие войны*»: *пройдем к безвеличию со-ти, к правде жалеющей*.

12

Так говорит правда!

Андрей Белый.

21 года. Июля 8-го. Детское Село.

ДЕМОНЫ ГЛУХОНЕМЫЕ.

Как демоны глухонемые
Ведут беседу меж собой.
Ф. Тютчев.

I.

Все духовное творчество человека коренится в природе, и все ныне организованные деятельности его, столь сложные и сознательные,—музыка и живопись, промышленность, архитектура, наука,—родились из непроизвольных побуждений. Так и слово возникло в составе инстинктивной мимики, как непроизвольное телодвижение гортани—звук.

Этот первоначальный звук разрешал тягостное напряжение чувства, и одновременно, вынося чувство наружу, ставил его пред человеком, как объект, в котором субъект видел себя зеркально отраженным; звук возвращался чрез слух внутрь человека радостью освобождения и самопознания, что̀ и было первым стимулом к сохранению звука. А постепенный навык учил произвольнее давать исход и образ аффекту в звуках.

Но уже в инстинктивной мимике люди должны были открыть средство взаимного общения: человек по жесту другого узнавал волнующее его чувство—страх опасности или радость находки. Звук оказался наиболее удобным средством общения; и это был второй стимул к его сохранению.

Итак, два влечения побуждали человека сохранить и разработать звук: одно личное, другое социальное. Каждое из этих влечений искало в звуке иной услуги и оттого стремилось развить его в ином направлении. Для того, чтобы звук удовлетворял личность, т. е. возможно полнее разрешал напор чувства и возможно целостнее выражал его во-вне, он должен был воплощать в себе именно личное со-

стояние духа. Напротив, социальный интерес побуждал обезличивать звук, потому что звук совершенно—личный непригоден для общения, и чем он личнее, тем менее пригоден. Только звук, вмещающий родовое ядро чувства, понятен всем.

Так звук, едва сознанный, стал ареною борьбы. Повторилось обычное, что переживает всякая ценность. Только личность гениальна в человечестве, и все блага создаются ею. Она не творит блага преднамеренно, но в своем жгучем голоде она умеет зорко разглядеть в природе возможное благо; кинется, схватит с земли невзрачную, безформенную вещь—мелочь, осколок, щепку, и, ликуя, уже провидя в ней целесообразную форму, тотчас поднимает молот, чтобы ковать. Но в ту же минуту социальный субъект накладывает руку на зародыш нового блага и не выпустит добычи, потому что он туп и властен, а личность безоружна. То же случилось со звуком. Личность открыла его и, обрадованная, хотела приспособить его для своих нужд; но социальный субъект мгновенно оценил удобство звука и предъявил свои права на владение им. И так как оба—личность и род—совмещены в человеке, то борьба за звук стала расколом и двоеволием внутри человека.

Как все другие блага, звук был не только найден личностью, но ею одной и разработан. Отдельный человек, побуждаемый радостью удовлетворения, бессознательно совершенствовал свой звук, силясь все полнее воплощать в нем беспримерный состав и окраску своего чувства. Но каждый личный звук неизбежно содержал в себе родовое зерно. Социальный субъект не трудился над звуком: он только пристально следил за работою личности и из мириады несходных однородных звуков отбирал тот, который всего чище выражал родовое с р е д н е е данного восприятия, звук наименее личный, наиболее общечеловеческий, понятный наибольшему числу людей; и этот звук он временно узаконял. Дальше личное творчество продолжалось уже в пределах узаконенного звука; и снова социальный инстинкт отбирал из массы личных видоизменений форму еще более общую и узаконял ее временно. Каждый временно-узаконенный звук расцветал бесчисленными индивидуальными цветами, и непрерывно совершался социальный отбор, узаконявший наиболее бесцветную и безуханную форму, пока наконец буйное цветение личности в звуке, чрез ряд закрепленных, все более общих форм, порождало чистую и полную форму родового звука, которую социальный инстинкт и закреплял уже окончательно. Так путем медленного отбора были найдены те непреложные звуки, которые суть корни наших слов, вернее—корни

словесных семейств. Корень воплощает в звуке лишь те элементы, которые составляют неизменное ядро данного восприятия у всех здоровых людей определенной группы помимо их индивидуальных различий и при всех переменах в их душевном состоянии. Корень с т а—был дознан выражающим восприятие становления, корень д а—восприятие давания, безотносительно к тому, что̀ становится или дается и кто и в каком настроении воспринимает становление или давание. Поэтому отличительные признаки корня—абсолютная полнота и крайняя сгущенность; корень—точно крепчайший и чистейший экстракт данного восприятия в звуке. Однократные страстные личные переживания в несметном множестве на протяжении тысячелетий, подобно пчелам, сгущали мед в ячейках звука, и вот очищенный и сгущенный звук затвердел в корень. Отныне личность порабощена корню; корень имеет над нею двойную, страшную власть, во-первых внутренней принудительности, потому что личность сама в себе содержит род, как свою идеальную норму, во-вторых социальной необходимости, потому что личность может сообщать свое восприятие другим людям только посредством корня, который один, именно в силу своей родовой природы, понятен всем. Точно так же, как корень, позднее выработались флексии для воплощения в звуке немногих закономерных изменений, какие претерпевает родовое восприятие.

II.

Звук, услышанный мною, слышали и другие, внезапный выстрел испугал всех и та же мысль родилась у многих. Значит, механизм духа в других людях и во мне тождествен. Между тем всякое мое восприятие—как бы бесплотное существо, созданное по моему образу и подобию. Мое настроение этой минуты единственно в мире, моя мысль, мое желание и решение—только мои, однократные и летучие воплощения моей беспримерной личности. Итак, весь мой состав двуприроден, я сразу—и экземпляр рода, и личность, и всякое мое движение, внешнее и внутренее, определяется двумя законами—общим и личным.

Человек без сомнения раньше сознал свою тожественность с другими людьми, нежели свое личное своеобразие между всеми, и первые-же искры этого сознания были зародышем общежития. Совместная жизнь и сотрудничество возможны для людей только в силу однородности их восприятий и реакций; поэтому выгоды обще-

жития конечно рано научили людей ценить свое родовое сходство и общей волею узаконять его в каждом отдельном. Каждый искал в своем ближнем не личную его особенность, а родовое ядро, и все вместе внушали каждому, что его переживание законно и истинно лишь постольку, поскольку оно тожественно со сходными переживаниями других людей. Социальный опыт безотчетно, но не менее искусно, исполнял ту самую работу, которую теперь сознательно исполняет наука: определял совокупность родовых признаков в многообразии сходных явлений. Добытое таким образом знание должно было тотчас включаться в общественный фонд, как и теперь всякое открытие точных наук немедленно включается в фонд техники. С этой целью найденное родовое содержание сходных личных переживаний постепенно облекалось в прочные формы, которые и становились техническими орудиями общежития. Таких форм было создано четыре: слово, идея (концепт), обычай и учреждение,—как бы закрытые сосуды, куда отлилась, и остыла, и затвердела наружной пленкою дознанная в опыте, но еще и непрерывно очищаемая родовая сущность индивидуальных восприятий и влечений.

Самый густой, самый проверенный и взвешенный в частях отстой родового заключен в слове,—чистейшая вытяжка человечности. Обычай не чист; ежеминутно проверяемый в индивидуальных опытах, он вечно очищает в себе родовое от личных примесей. Неустанно очищается и густеет идея, еще чаще меняется закон; одно слово готово, налито в звуки и закупорено на тысячелетия.

Когда девушка в страстном порыве хочет известить любимого о своей любви, она произносит не свое, но общее слово,—пять звуков, подобранных и спаянных за тысячи лет до нее. То пращур, живущий в ней, не дает ей сказаться собственным словом: он сторожит и произносит ее устами свое процеженное, выверенное, безличное слово «люблю». Уже Риг-Беде привычен глагол lubhyati в значении страстно желать, откуда и lubhdas—жадный; арийские племена, расселяясь, унесли с общей родины, среди прочего скарба, в числе других нужнейших корней, как с т а и д а, и корень lubh,—и он всюду принялся на новых местах; у римлян lubido, libido удержало древний смысл страстного желания, у германцев корень жив в словах Liebe, Lob, Glaube, Gelübde, erlauben, а в славянских наречиях он расцвел и размножился обильнее, чем где-либо.—Когда минуту спустя та-же девушка прошепчет: «милый!»—это пращур подсказал ей древнее слово, индо-европейское mele—растирать, смягчать, откуда санскриткое mla, делаться мягким, греческое malakós, мягкий, латинские molo,

mollis, mulier, немецкое Mehl, mahlen, Milbe, наши молоть, мельник, мелкий, моль, молитва и милый. И какое-бы слово она ни произнесла, все ее слова—общие и чужие. От начала Руси существуют слова «люблю» и «милый», миллионы людей произносили их и несчетные уста будут повторять их еще тысячелетия. Какое-бы беспримерное чувство ни совершалось внутри человека, ему не сказаться личным словом, потому что личных слов нет и не может быть. Во тьме времен двойным гением личного творчества и социального отбора были созданы 600 или 700 несокрушимых как сталь, и вместе неистощимо-плодовитых корней; их разноликим потомством населены все языки арийской расы, и других слов нет.

Если бы девушка умела слышать свой внутренний голос, как бы возмутилась она против тирании слов, и как бы плакала тайно! «Люблю» и «милый»—не то, не то! Я—особенная, и моя любовь—беспримерная в мире. Что мне до того, что сходное чувство переживали и другие! Моего чувства никто не переживал и не мог выразить. Дай мне полно и точно выразить мое чувство моим словом, чтобы я сама могла увидеть его в воплощении звука и чтобы любимый узнал именно мою любовь»! И услышала бы голос пращура, живущего в ней: «Как раз потому, что твое чувство в своей полноте беспримерно, другой человек его не узнает: вырази твою любовь полным и точным звуком,—любимому тобою прозвучит непонятный крик. Есть в чувстве ядро, общее всем людям; долгим опытом я вылущил его из необозримого множества сходных личных переживаний и облек в слово. Знай же: ты должна забыть о себе, когда говоришь другому; возвестить другому ты можешь только наличность в тебе ядра любви, но не больше».

Итак, готовое слово, как оно дано отдельному человеку в языке народа, принадлежит не к сфере бытия, но к сфере действия, ибо оно для личности—только орудие: орудие ее общения с другими. Оттого, по общему закону орудийности, слово наполнено исключительно родовым содержанием; чем оно безличнее, чем отвлеченнее, тем выше его орудийная ценность. Даром речи одарен в человеке лишь род, личность же обречена навеки оставаться немою; или иначе, бытие во-веки невыразимо, и только движение членораздельно звучит. Слово есть связующая нить рода, один из органов его существенного единства, подобно кровеносной системе в организме. В то время, как родовое ядро чувства, исходя словом наружу, отдает свою энергию миру, невыявленные личные элементы чувства остаются в личности и совершают ее внутреннее питание. Всякое словесное

изъявление чувства, вследствие своей неполноты, ощущается личностью как ложь.

Природа слова предопределена законом познания. Личность способна познавать только другую личность,—но это знание по своей полноте не может, и по своей социальной ненужности не должно быть выражено. Поэтому личность нема, и ничто индивидуальное не именуется. Говорит же род, и говорит о родовом, которое он одно способен познавать. Итак, в слове осуществлена полная соотносительность субъекта и объекта: род в человеке есть субъект речи,—тот, кто говорит,—и род в вещи есть объект речи,— то, о чем говорится. Эта полная внутренняя адекватность слова и сделала его совершеннейшим из технических орудий человека.

III.

Личность—в отдельном замкнутом образе на миг воплощенная целость бытия, на один раз временно созданная неповторимая архитектоника его полного строя и неустанного гармонического движения. Личность целостно воспринимает личность в явлении, и потому социально молчит, ибо как описать тайну мировых тайн? Но каждое представшее явление—неповторимый образ единого бытия; личный демон вещи не имеет подобия в мире. И вот, в представшем явлении блеснет пред личностью, как молния во мраке ночи, лицо личного демона этой вещи, не похожее ни на какое другое лицо, все освещенное и ужасное нестерпимой подвижностью кишащих огней; и личность, мгновенно ослепнув, зажмурив глаза, издает крик, исторгнутый ужасом познания. Этот крик выражает полноту восприятия.

Единичный беспримерный демон одной личности в мгновенном прорыве тьмы созерцает единичного беспримерного демона другой личности: вот что есть восприятие. Поэтому восприятие вдвойне своеобразно—своеобразием воспринимающей и другим своеобразием—воспринимаемой личности. Одна ипостась мира созерцает другую или, иначе, личность созерцает в вещи другой аспект самой себя; воспринимая, она говорит себе: я есмь в это мгновение не я, какою я знала себя до сих пор, и все-же—я; значит я многовидна и все-же едина. Это познание каждый раз снова поражает личность ужасом, потом радует успокоением и наконец восторгает чувством обогащения; так малейшее восприятие обуревает дух тройным волнением, которое еще отчетливо видно в дикаре, со-

зерцающем незнакомую вещь. Это восприятие этой личности есть однажды в мире разыгравшаяся драма, неповторимая даже в той же самой душе, как две влюбленности одного человека, и не более сходная с подобной-же драмой другой души, нежели влюбленности двух человек. Крик, вырвавшийся из груди, есть во вне повесть о неповторимом событии; личность самой себе дает отчет, как сверкнуло пред нею лицо нового демона, как она ужаснулась, как постепенно начала узнавать в нем свой собственный образ, и как наконец совсем опознала в нем себя. Роду эти неповторимые подробности не нужны, он пропускает их мимо ушей. В потрясенном рассказе он уловляет только одно формальное показание, попутно оброненное личностью, для нее вовсе неважное: показание о том, при встрече с какою вещью разразилась в ней та драма. Получив это важное сведение, род как-бы открывает свою книгу логарифмов и рассчитывает: данная вещь относится к такому-то роду вещей, а каждому роду вещей соответствует в психике данного рода существ такой-то тип переживаний или динамитных взрывов самопознания. В том крике личность назвала род взрывчатого вещества, взорвавшего ее; тем самым определился тип происшедшего в ней взрыва, тип тожественный для всего рода существ, к которому принадлежит эта личность. И вот в сложнейшем содержании крика родовой инстинкт подбирает тот рассеянный по всему повествованию состав звуковых знаков, по тону, высоте, силе и тембру, который обозначает именно этот тип родовых взрывов, и обработывает его в слово; и долго еще проверяет и соответственно перестраивает слово, пока не станет слово точным и полным родовым словом aere perennius. И род бегло переговаривается внутри себя пустыми словами, тогда как личность воспринимает в слове только жест глухонемого: «смотри туда! там демон, и особенный!» и смотрит по направлению жеста и видит там как бы за туманной завесой демона, представшего без завесы тому, кто сделал жест. И так как в самом деле демоны вещей, т. е. лики духа, все тожественны в человеческом роде и распределены по родам, видам, подвидам, то туманный облик демона вызывает в нем взрыв, однородный взрыву, о котором повествовал жест пострадавшего. Но подобно тому, как искра из паровоза, попав в стог соломы, воспламеняет его совершенно иным огнем, и один горящий стог отличен от другого беспримерным и сложнейшим составом своих горючих свойств в каждой молекуле каждой соломинки и совокупно в целом стоге, по его величине, кладке, плотности, подветренности и пр., так что каждый стог сгорает индивидуально,—точно так во внемлющем драма познания разыгрывается

совершенно иначе, нежели в изрекшем слово. Так было в дни, когда рождалось слово; теперь и в видящем—говорящем, и в слушателе их душевные драмы разыгрываются едва заметно для них самих, подобно движению теней на белой стене при свете месяца. Но как бы слабо ни было горение,—слово «стул», произнесенное другим, есть только искра, зажигающая меня—беспримерный стог соломы, и я сгораю беспримерно, индивидуально.

В слове уцелел для личности только жест, тот первоначальный жест глухонемого, зерно, из которого род взрастил плод—слово. Звуковой жест в слове—как семя в плоде. Семя—сущность, а греющую и укрывающую его мякоть плода точит червь, клюют птицы, ест человек. Им только мякоть и нужна; так готовое слово нужно роду, природе же нужно семя и личности—жест в слове. Но жизнь—только в семени, мякоть же—прах и добыча тления.

IV

Итак, речь личности в слове—односложные, но богатые выразительностью междометия,—крики глухонемого; наоборот, речь рода членораздельна, сложна и бессодержательна. Ни та, ни другая не открывают запечатленной тайны; личность восклицает в испуге и тем привлекает внимание к напугавшей ее вещи, род именует род этой вещи, и только. Что́ есть вещь, неизрекаемо, ибо она в своей индивидуальности содержит весь строй и все движение бытия.

Слово нужно человеку для того, чтобы личность могла разряжаться и познавать себя в звуковом жесте слова, а род — непрерывно восстановлять им свое распадающееся единство. В промежутках между словами род рассыпается на личности, и каждая личность страдает от внутреннего избытка и недоумения. Чуть вырвется из личности звуковая искра—она мгновенно по невидимой нити зажигает все окрестные личности,—и род, как круг люстры, снова цел; погаснут огни, и род распался.

Но и род познаёт себя в слове. Весь опыт своего познания — родового познания вещей — он формулирует в слове: нужен был огромный ряд наблюдений, чтобы установить родовое тождество всех лошадей и уверенно выделить их в особенную группу существ, которую род и назвал лошадью. А каждый выделенный им род вещей — не что иное, как его собственный особенный аспект, один из бесчисленных ликов, которые являет себе целостному человеческий дух. Так род познаёт себя в родовых именованиях слова; а растущее са-

мосознание рода есть его прорастание в личностях, т. е. действительное созидание родового единства.

Род познаéт себя кружкáми, гнездами родов, закрепленными в словах, личность—точками своих звуковых жестов. Каждым словом она бросает на экран одну точку и постепенно вычерчивает точками, как бы пунктиром, свой облик по мере своих восприятий, так что в бесчисленных звуковых жестах изреченных слов она получает вне себя свой частичный зеркальный образ, и в нем познаéт себя. Оттого слово, произнесенное человеком мысленно или вслух, например, слово скорби или ликования, удваивает силу его чувства.

Еще другой услугой слово двояко служит личности, уже не как жест, а как слово. Если каждый отдельный звук языка, например, а, о, п, есть атом человеческой речи, тожественный для всех народов, то корень ста,—да,—люб—есть молекула естественной группы наречий, индо-европейской, а слово—ставить, давать, любить—есть клетка русского национального языка. И подобно тому, как в природе однородные атомы, их сложение в родовые молекулы и сложение молекул в видовые клетки предопределены особи, ей же самой присуща, как ее беспримерная особенность, только индивидуальная архитектоника клеток, так личная речь есть неповторимая в народе за все время его существования архитектоника национальных слов, т. е. личен в языке только стиль речи. В стиле своей речи, в характере своего бессознательного подбора и расположения слов личность дополнительно познает себя, притом познаéт каждый раз снова целостно, а не по частям. Оттого многоговорящие люди сравнительно легко решаются,—потому что поверхностно з н а ю т себя. Стиль речи есть целостный образ личности, предносимый ею и оттого видный ей самой. Но он виден и другим. Он как-бы существо особого рода, целостное явление, которое люди и воспринимают целостно. Личность поэта непосредственно воспринимается читателями только в стиле его речи; все другие восприятия его поэзии, причиняемые ее содержанием, образностью, идеями, архитектурою и пр., частичны и предопределены тем основным восприятием, целостным и потому—в отличие от этих—невыразимым. Так же действует речь оратора, преимущественно своим личным стилем, характер которогó либо умаляет, либо волшебно удесятеряет силу заключенных в ней доводов. И то-же наблюдается в обыденной жизни; словесный стиль человека, вместе со стилем его движений и наружности, образует тот целостно-воспринимаемый облик, который в общежитии определяет его судьбу.

М. Гершензон.

РЕМБРАНДТОВА ПРАВДА В ПОЭЗИИ НАШИХ ДНЕЙ

(о стихах В. Ходасевича).

Есть редкое счастье в писании: это возможность естественно поделиться с читателем радостью (радостей мало у нас: потому-то их ценишь); недавно испытывал редкую радость я: слушал стихи; и хотелось воскликнуть: «Послушайте, до чего это — ново, правдиво: вот—то, что нам нужно: вот то, что новей футуризма, экспрессионизма и прочих течений»! Стихи принадлежали поэту не новому,—и поэту без пестроты оперения — просто п о э т у. В поэте жила одна нота, которая переживает н о в е й ш е е, ибо н о в е й ш е е не выживает, н о в е й ш е е при появлении с а м о н о в е й ш е г о старится; да, пятнадцать уж лет как господствует в нашей поэзии спорт; с а м о н о в е й ш е е вытесняет н о в е й ш е е; и поэту, которому не пришлось быть н о в е й ш и м сначала, не уделяли внимания; некогда было заняться им: не до него — Маяковский «ш т а н и л» в облаках преталантливо; и отелился Есенин на небе — талантливо, что говорить; Клюев озеро Чад влил в свой чайник и выпил, развел баобабы на севере так преталантливо, почти гениально что нам не было времи вдуматься в б е з б а о б а б н ы е строки простого поэта, в котором правдивость, стыдливость и скромная гордость как будто нарочно себя отстраняют от конкурса на л а в р о в ы й в е н о к. И вот—диво: лавровый венок—сам собою на нем точно вырос; самоновейшее время не новыя ноты п о э з и и в е ч н о й естественно подчеркнуло; и ноты п р а в д и в о й поэзии, р е а л и с т и ч е с к о й (в серьознейшем смысле) выдвинуло, как новейшие ноты.

Скажу я подобием: был несноснейший живописный период, когда «М и р И с к у с с т в а», столь давший искусству, как будто прокис в киселе художников «Г о л у б о й Р о з ы»; я помню—тогда опро-

тивела мне современная живопись; лишь у кубистов и даже супрематистов кричащие странности и непрозяблые правды меня познавательно волновали; но сердце не билось. Недавно увидел эскиз я: два яблока с червоточиной на краснейшей бумаге, фон синий и скомканный — только два яблока! Но захотелося мне подскочить и воскликнуть: «Да это ведь — чудо: яблоки, как живые (их взять бы да съесть)—вместе с тем—откровенье духовного мира они». Тут я понял, что самоновейшие направления были лишь пестрым мостом к углубленному реализму за-футурической линии. В «яблоках» у Чупятова — конец старых форм оказался началами старо-нового—вечного: живопись начинается! Да здравствует живопись!

С этим чувством новооткрытой страны русской живописи понял я впечатление от последних стихов Ходасевича, поэта не нового, на которого критика не бросила благосклонного взгляда. Он стоя на месте, и не стремясь в новизны, углублял и чеканил гравюрою неколоритные строчки казалось бы... до классицизма, до стилизации? Нет: до последней черты правдивейшего отношенья к себе, как к поэту, которое, вдруг заблистав простотой из пестрот и персидских ковров модернизма, меня заставляет сказать: «Что это? Реализм доведенный до трезвой суровейшей прозы, иль—откровение духовного мира?»

> Какая может быть досада,
> И счастья разве хочешь сам,
> Когда нездешняя прохлада
> Уже бежит по волосам?
> Глаз отдыхает, слух не слышит,
> Жизнь потаенно хороша,
> И небом невозбранно дышит
> *Почти свободная душа.*

Разве это поэзия? Простой ямб, нет метафор, нет красок — почти протокол; но протокол — правды отстоенного душевно-духовного знания. Знаете, чем волшебно освещены эти не маркие строчки? Одною строкой, верней одним словом «почти». «Почти свободная душа». Как в «чуть-чуть» начинается тайна искусства, так в слове «почти» — магическая красота правды строк: и это «почти»—суть поэзии Ходасевича. Или:

> Смотрю в окно –и презираю;
> Смотрю в себя—презрен я сам;
> На землю громы призываю
> Не доверяя небесам.

Дневным сиянием объятый
Один беззвездный вижу мрак.
Так вьется на гряде червяк
Рассечен тяжкою лопатой.

Последние две строки одним штрихом вычерчивают весь рельеф восьмистишия; стихотворение, как картина, выходит из рамы: становится жизнию—правдой души.

Или: вот стихотворение «Ласточки». Имеющий ухо да слышит!

Имей глаза—сквозь день увидишь ночь,
Не озаренную тем воспаленным диском.
Две ласточки напрасно рвутся прочь
Перед окном шныряя с тонким писком.
Вон ту прозрачную, но прочную плеву
Не пробовать крылом остроугольным.
Не выпорхнуть туда за синеву,
Ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным.
Пока вся кровь не выступит из пор,
Пока не выплачешь земные очи
Не станешь духом. Жди, смотря в упор
Как брызжет свет, не застилая очи.

Здесь прием тот же: стихотворение умеркает тенями неяркости; вдруг «чуть-чуть»—свет, штрих, зигзаг поэтической правды (отстой многих жизненных лет); и — Рембрантов рисунок; неяркость, не маркость—прием для «света правды»:

«Пока вся кровь не выступит из пор.
«Пока не выплачешь земные очи
«Не станешь духом.»

Вот — девиз всякой правдивой и вечной поэзии: она не только душевна, она и духовна: метафоры, яркости, пестрота, ритмы, умности и заумности, неологизмы — не спорю: все это—прекрасное опеpенье душевности; и лучше душевность, чем бездушевность, когда «духа поэзии» нет; «дух» поэзии—правда; и «облаками в штанах», и утончением чувства он, «дух», не дается еще: где же есть «дух поэзии правды», там критерии старого, нового, пролетарского, декадентского иль крестьянского стиля отступают на задний план; хорошо если к духу присоединится «душевность». Мы скажем: «Какая яркость!» И ярок Клюев, когда говорит:

«Осеняет словесное древо
«Избяную дремучую Русь.»

Но не забудем. «словесное древо» — еще есть метафора, иль—душевность (у Клюева за душевною роскошью есть зерно духа); можно писать «духом» без «древословных навесов»; и быть все же поэтом воистину. У Ходасевича нет «древословных навесов», а есть среди серого фона и сумерка строчек один только штрих, молниеносно рельефящий все: штрих «духовной поэзии»; в наши же дни, когда все, что земля и душа, распылилось (земля не питает, душа не хмелит),—в духовности, в трезвости, в строгости, в четкости, — правда; и эта правда поэта не нового ставит в самоновейшее место: «Пока вся кровь не выступит из пор, не станешь ты поэтом правды»—хочется перефразировать Ходасевича.

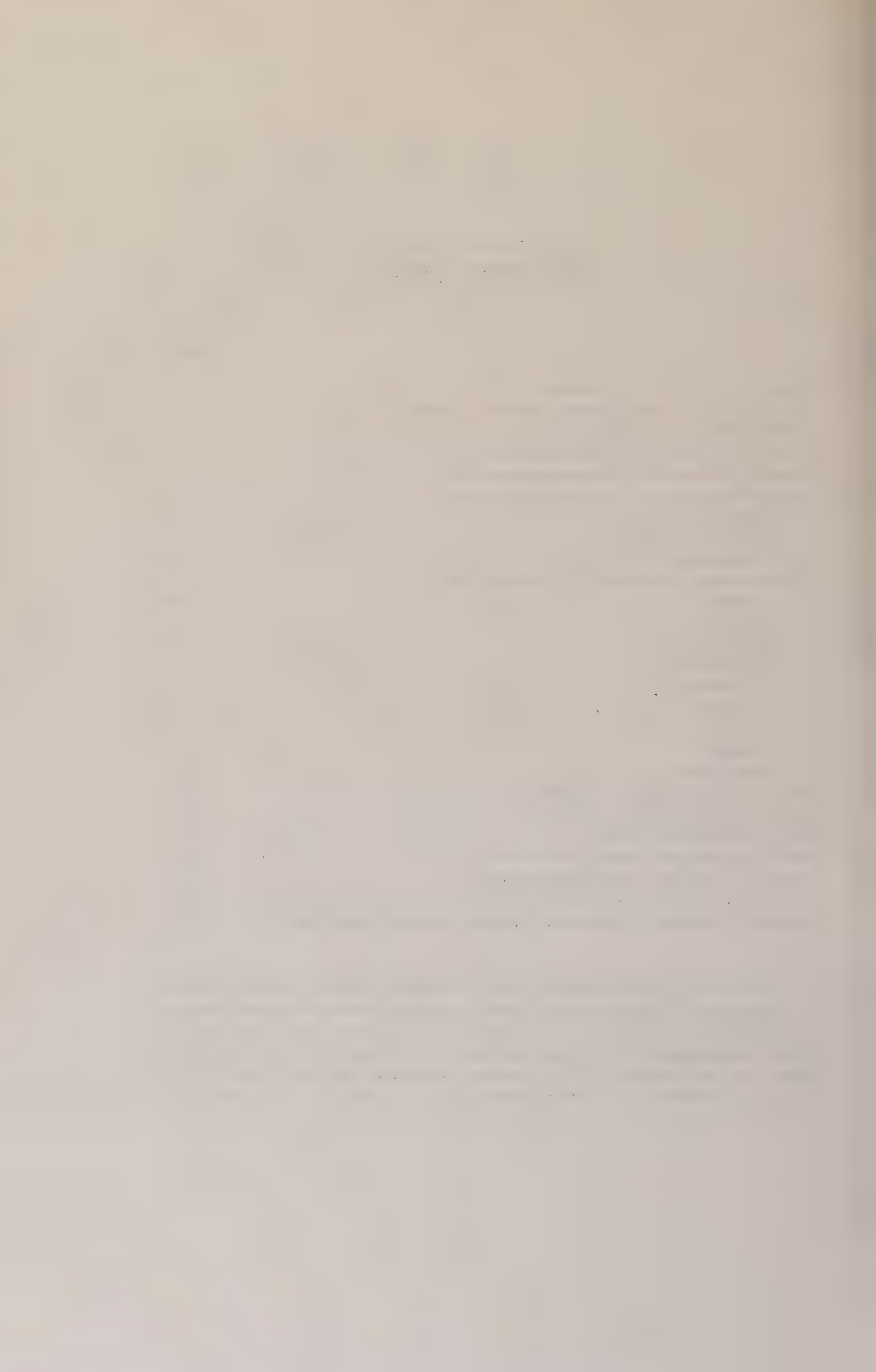
Искони пестрота и «душевность» (духовная, бездуховная) заполняли духовность поэзии»—только духовность; и только духовные — открывались потом. Наше время такое открытие знает: Баратынский стоит перед нами: в истекшем столетии крылся он в сумерках, заглушаемый попеременно: поэзией Пушкина, Бенедиктова, Лермонтова, Алексея Толстого, Надсона; его заслоняли великие, малые — все, чтоб в двадцатом столетии выпрямил он исполинский свой рост. Ходасевича по размеру с иными поэтами современности сравнивать я не хочу, но—скажу: точно так же в кликушестве моды его заслоняют все школы (кому лишь не лень): Маяковский, Казин, Герасимов, Гумилев, Городецкий, Ахматова, Сологуб, Брюсов — каждый имеет ценителей. Про Ходасевича говорят: «Да, и он поэт тоже»... И хочется крикнуть: «Не тоже, а поэт Божьей милостью, единственный в своем роде». И он может сказать языком Баратынского о характере музы своей, что красавицей ее не назовут, но что она поражает «лица необщим выраженьем». И это «необщее выраженье» — теневая, суровая Рембрандтова правда штриха: духовная правда!

Андрей Белый.

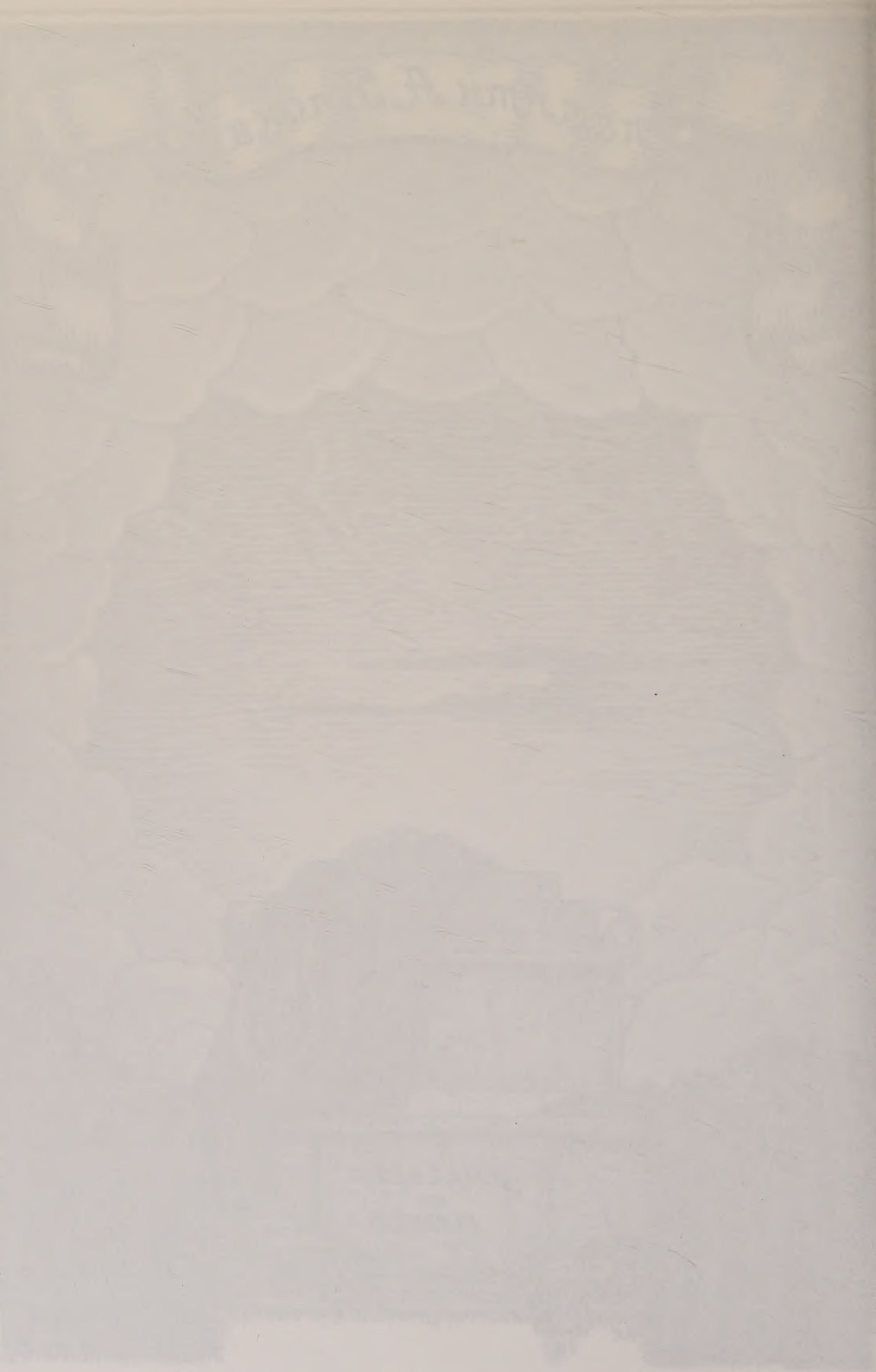


СОДЕРЖАНИЕ.

№№ 6 и 7 «Записок Мечтателей» посвящены памяти Александра Блока. Воспоминания и статьи: Андрея Белого, А́нны Ахматовой, Вячеслава Иванова, Р. В. Иванова-Разумника, В. В. Гиппиуса, Евг. Замятина, В. А. Зоргенфрея, М. В. Добужинского, К. С. Станиславского, М. А. Кузмина, Н. А. Клюева, Вл. Пяста, Федора Сологуба, К. И. Чуковского, Мариэтты Шагинян, Викт. Шкловского, А. З. Штейнберга, П. Е. Щеголева, Конст. Эрберга, Е. П. Иванова и др.




памяти А. Блока.
MDCCCLXXX
MCMXXI



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ
АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ
БЛОКЕ